

**Мария БАРЫКОВА**



**КЛАУДИА  
или  
ЗАГАДКА  
РУССКОЙ ДУШИ**

Мария Барыкова

**Клаудиа, или Загадка  
русской души. Книга вторая**

«Автор»

2018

## **Барыкова М.**

Клаудиа, или Загадка русской души. Книга вторая /  
М. Барыкова — «Автор», 2018

Роман-диалогия «Загадка русской души» повествует о дальнейших приключениях Клаудии де Гризальва. В них героиня попадает в Россию, и русскому читателю будет особенно интересно увидеть новый взгляд на события, происходившие в нашей стране в первой четверти XIX века. Первая часть «Наследство Екатерины Медичи» рассказывает о войне 1812 года, увиденной глазами уже вполне зрелой героини, носящей теперь гордый титул герцогини Сарагосской. Для массового русского читателя эта славная страница российской истории впервые предстает с новой, быть может, совсем неожиданной стороны. Бородинская битва и пожар Москвы, описанные с точки зрения испанца, дают совсем иную картину, чем в бессмертной эпопее Толстого. Во второй части, носящей название «Русский царь», также с весьма непривычной стороны предстает нашему читателю личность Александра I. Кроме того, в этой части, наконец, развязываются все узлы пенталогии, герои обретают свои истинные лица, но история никогда не имеет конца, поэтому смерть русского царя становится лишь поводом к новым загадкам...

© Барыкова М., 2018

© Автор, 2018

## Содержание

Часть первая. Наследство Екатерины Медичи	6
Глава первая. Долг превыше всего	6
Глава вторая. Маленький маркиз	18
Глава третья. Капитан Стромиллов	32
Глава четвертая. Священная долина	47
Глава пятая. Новый Иерусалим	62
Конец ознакомительного фрагмента.	75

**Мария Барыкова**  
**Клаудиа или Загадка**  
**русской души. Книга вторая**

*«Величие России зиждется на собачьей верности». Герцог  
Сарагосский, семнадцатый маркиз Харандилья*

## Часть первая. Наследство Екатерины Медичи

### Глава первая. Долг превыше всего

«О, пресвятая дева дель Пилар...» – с тоской думала Клаудиа, глядя сквозь низенькое крестьянское оконце на бурю, не утихавшую уже третий день. Тяжелые свинцовые тучи казались намертво придавили почерневшую и вспучившуюся землю, стремясь превратить ее в такое же холодное и вязкое месиво, каким являлись сами. Дождь лил нескончаемыми потоками, то и дело перемежаясь крупным мутным градом, а то и липким снегом. Такое поведение природы в дни летнего солнцестояния, казалось, не по душе даже обитателям этих мест. Оно навевало невеселые думы и служило дурным предзнаменованием.

– Матка Боска, покарай этих супостатов вместе с их волосатым напыщенным тараканом, – уже в который раз, стоя в углу на коленях перед дешевой глиняной статуэткой Богоматери причитала старуха. Хозяйка избушки, вероятно, полагала, что никто из ее гостей «по польску не розумее».

Клаудиа, уже довольно сносно изучившая не только польский, но и русский язык, однако не спешила разуверять хозяйку и предпочитала общаться со всеми местными жителями знаками. Делала она это не столько из нежелания иметь хотя бы что-нибудь общее с этими далекими и чуждыми ей польскими крестьянами, сколько из врожденного интуитивного любопытства, подмывавшего узнать как можно больше о том, что думают сейчас обо всем происходящем окружающие ее простые люди. И люди, не скупясь и сами того не подозревая, демонстрировали ей всю свою ненависть к французам и их прославленному императору.

Трудно было не понять и не разделить их чувства. Собиравшаяся в их стране армия вытаптывала поля, резала скот, выметала из и без того небогатых лачуг все ценное и понравившееся, ни с кем не церемонясь и порой даже убивая особо рьяных защитников своего добра. Всего лишь несколько дней назад, еще до начала этой страшной грозы, Клаудиа собственными глазами с ужасом наблюдала разоренные фольварки, сбитые заборы, разрушенные овины и сараи, втопанное в грязь зерно. По мнению Клаудии эти странные поляки почему-то оказались даже чересчур терпимыми; только молились и шептались по углам. «Неужели они, наивные, и в самом деле думают, что иноземная сила может принести в какой-нибудь край свободу и независимость?» – сокрушенно думала молодая женщина.

Когда она со своими спутниками въезжала в это отдаленное село, группа французских солдат развлекалась там погоней за крупной, отчаянно визжащей свиньей. Несчастное животное металось по пустырю, уворачиваясь от непрошенных объятий возбужденных мужчин в синих мундирах, и диким визгом оповещало о своем горе всю окрестность. А веселые крики и грубый гортанный хохот французов заглушали плач, стенания и проклятья старухи и женщины, что, стоя в сторонке со слезами на глазах, наблюдали за этой дикой забавой взрослых детей.

Клаудиа, не выдержав, выскочила из фуры, на которую давно сменила щегольскую карету дона Гаспаро и, нарочито медленно, привлекая к себе всеобщее внимание, направилась к заливавшимся хохотом гусарам.

– Если сию же минуту вы не уберетесь отсюда и не оставите в покое несчастное животное, я доложу о вас императору... И весь свет узнает о том, какие французы скоты! – тихо, но внятно добавила она.

Молоденький субалтерн, бегавший вместе с солдатами, в первую секунду опешил, во вторую – уже был готов вспылить, но тут к странной даме приблизились два весьма решительных и спокойных провожатых в непонятных черных одеждах, и мысли корнета приняли другой оборот.

«Тут что-то не так, – подумал он. – Черт его знает, что это за фифа! Похоже, особа весьма знатная, может, и очередная любовница нашего маршала, уж больно хороша. Такая, чего доброго, и расстрел для меня выпросит. Пожалуй, лучше не связываться».

– Что вы, мадам, – он стянул с головы кивер, – вы жестоко заблуждаетесь. Ради такой прелестной дамы... Зачем бежать к императору? Вы – мой император! Приказывайте, богиня.

И молоденький французский гусар, обладавший весьма приятной наружностью, галантно склонил перед странной госпожой кудрявую голову.

Клаудиа действительно была очень хороша. В двадцать восемь лет она обрела не только всю прелесть еще молодой, но уже познавшей жизнь и цену любви женщины, но и обладала той пронзительно-печальной глубиной темного взгляда, что недвусмысленно свидетельствовал о некоем таинственном знании, обычно недоступном простому смертному. Она позволила себе ответить стройному французику легкой тенью улыбки, и тот сразу же окончательно забыл о только что полученном оскорблении и был в самом деле всецело покорен подлинным очарованием столь внезапно появившейся перед ним прекрасной дамы.

– А если я и в самом деле поверю вам, корнет, то не сбежите ли вы от меня при первой же трудности, которые, увы, так часто возникают на пути... графини? – неожиданно кокетливо вступила в галантную игру Клаудиа.

– О, что вы! Ваша светлость! Никогда! Проверьте! Королева!

– Извольте, мсье...

– Виконт де Ламбер к вашим услугам.

– Мсье виконт, я нуждаюсь в небольшом отдыхе. Обеспечьте охрану и благополучие этого дома, его хозяев и моих спутников.

– Слушаюсь, моя королева, – отрапортовал лейтенант, за пару месяцев, проведенных в Польше пристрастившийся проявлять французскую галантность на манер расторопных польских кавалеров, и тотчас принялся отдавать приказания своим несколько обескураженным таким поворотом событий подчиненным.

Сначала Клаудиа вообще не собиралась нигде останавливаться. Она прекрасно высыпалась на ходу, и если бы не этот случай со свиньей, так и проехала бы прямо до главной квартиры Португальского легиона. Однако, решив задержаться в этом небольшом крестьянском домике на пару часов, чтобы заодно привести в порядок себя и свои мысли, она вскоре нежданно-негаданно оказалась полностью отрезанной от мира. Потому что едва только собралась она отправиться дальше, как любезный Ламбер, разместившийся вместе с солдатами в этой же деревушке, указал ей на наползающие тучи и предложил переждать непогоду в тепле, под крышей.

Молодая женщина вспомнила, как в этот момент озабоченно взглянула по указанному виконтом направлению, увидела сгущавшуюся на востоке тяжелую темноту и тут же услышала отчетливый раскат еще отдаленного грома. Одна туча была серая, свинцовая, а другая – иссиня-черная. Из обеих то и дело вырывались зигзаги молний, и мрак быстро начинал окутывать землю. Клаудиа с виконтом стояли, точно замороженные, и какое-то время следили за тем, как тучи стремительно приближаются, все ярче освещаясь изнутри рваными ослепительными вспышками и наполняя воздух оглушительными раскатами усиливающегося грома. Но вот черная туча брызнула дождем, а серая разразилась градом.

Клаудиа с виконтом, словно дети, вбежали в дом. Дождь поначалу лишь слабо брызнул, а град весело прошуршал по их лицам мелкими ледяными осколками, но это продолжалось всего несколько мгновений. Затем ливень хлынул стеной, а еще немного погода сменился крупным полновесным градом, угрожающе колотившим по всему вокруг и поднимавшим с земли целые фонтаны жидкой грязи. Несколько страшных порывов ветра разметали пирамиду ружей, окончательно сорвали с петель уже болтавшуюся калитку в соседнем заборе и обвалили стоящую за ним небольшую плохо уложенную поленницу дров.

Виконт спокойно наблюдал за тем, как его люди выскакивали из соседних лачуг и, прикрываясь ташками<sup>1</sup> от убийственно колотящих градин, затаскивали под крышу развешенную на заборах амуницию. Юноша даже представить боялся, что творится сейчас на открытом пространстве, где стоят десятки уже переправившихся дивизий, и где в данный момент мог бы находиться и он сам, если бы не приказ командира полка во что бы то ни стало достать фуража на десять дней. И... он никогда не встретил бы эту странную красивую женщину...

«Неужели она приносит счастье?» – вдруг совершенно неожиданно промелькнуло в сознании де Ламбера, и он с благодарностью перевел взгляд с полыхавшей за окном грозы на молча сидевшую у окна женщину, в своем тяжелом жемчужном платье из тафты и брошенном на плечи малиновом бархатном спенсере казавшуюся даже несколько нереальной, словно сошедшей с картины старых мастеров.

«Этот молодой человек послан мне Богом», – ответив на сияющий взгляд легкой полуулыбкой, подумала в свою очередь и она, словно их обоих в один и тот же момент пронзила какая-то странная мистическая искра. Но в следующий момент забеспокоился ребенок.

Впрочем, если бы она была одна, ее не остановила бы никакая туча...

Клаудиа отошла от слюдяного оконца, беспросветного из-за вот уже третьи сутки kloкo-тавшей непогоды, подошла к простым широким нарам, служившим здесь постелью, и поправила сбившееся одеяло на мирно спящем семнадцатом маркизе Харандилья.

Ему шел уже третий год, и до сих пор малыш не приносил всем вокруг ничего, кроме искренней радости. Мальчик получил в наследство не только странную для испанца внешность, но и все шесть имен отца с прибавлением по традиции, имени деда по матери. Впрочем, доном Хоакином его называл только дон Гаспаро, все же остальные предпочитали простое домашнее прозвище Нардо<sup>2</sup>. О, с какой нежной заботой смотрел хозяин замка д'Альбре на своего крестника перед разлукой! И как быстро затем ушел, потушив в глазах глубокую чистую грусть и больше так и не показавшись до самого их отъезда из замка. Клаудиа не знала, что герцог провожал ее повозку взглядом из своего высокого окна до тех пор, пока они не скрылись из виду, горячо молясь и осеняя их путь крестным знаменем.

Глубокая печаль сжала сердце Клаудии. Мысли о доне Гаспаро незаметно перетекли в воспоминания об отце. Старый, утомленный жизнью, бесчисленными выпавшими на его долю несчастьями и ранами, он не протянул долго даже в райской обстановке садов замка д'Альбре и год назад тихо скончался на руках ее и Игнасио. «Будьте счастливы, дети мои», – было его последним напутствием, и глаза старика светились при этом истинной верой в реальность такого счастья. Сам дон Рамирес умер счастливым, и это во многом облегчало Клаудии страдание от вечной разлуки с ним.

Вскоре после смерти отца Игнасио сбежал из замка. Клаудиа догадывалась о том, где он мог быть, но предпринятые розыски ничего не дали. Она все чаще молчала, замыкалась в себе, в разгар работы или занятий останавливаясь и глядя неподвижными глазами куда-то вдаль, в некую точку, видимую ей одной. Ребенок, не причинявший никаких хлопот, тоже мало отвлекал ее, и, в конце концов, дон Гаспаро вызвал свою воспитанницу на прямой и откровенный разговор.

– Я прекрасно понимаю вас, ваше сиятельство, – мягко обратился он. – Ваш муж в Германии, ваш отец умер, ваш брат, вероятно, скрывается в Сарагосе, а, скорее всего, находится среди гверильясов этого эль Эмпесинадо, ваш друг Педро – в Америке...

– А я в это время здесь, с ребенком, – поспешила закончить Клаудиа.

– С вашим сыном, герцогиня, – уточнил герцог.

---

<sup>1</sup> От французского *tache* – сумка. Плоская сумка трапециевидной формы, пристегивалась к сабельной португее. Обязательная принадлежность гусарского обмундирования.

<sup>2</sup> *Nardo* – (исп.) тубероза, символ надежды и любви.

– Да, с моим сыном, – мягче, но все же равнодушно ответила она.

– Дон Гарсия не обрадуется вашему появлению, – неожиданно твердо закончил свою мысль дон Гаспаро.

И в который уже раз Клаудиа вспомнила, как вздрогнула она от такой неожиданно и столь отчетливо высказанной самой ею втайне подозреваемой истины. О, какими беззащитными, широко распахнутыми глазами посмотрела она тогда на дону Гаспаро.

И вот теперь точно так же глядела она на мутные струи дождя, заливавшие жалкую слюду, словно безутешные слезы, и точно также задавала себе безответный вопрос, почему вдруг радость обернулась печалью? Однако и сейчас, как тогда перед доном Гаспаро, перед своим всемогущим покровителем, Клаудиа так же упрямо ответила на все сомнения лишь одной, исходившей из самого ее существа, фразой:

– И все-таки мы должны быть с ним рядом.

«Да, она должна быть с ним рядом. Так было там, во всех опасностях. И так будет здесь».

– Но вы даже не представляете себе, герцогиня, какие события назревают сейчас на севере Европы, – спокойно сказал на это дон Гаспаро.

– Какие еще события?

– Судя по всему назревает большая война...

– С кем?

– С Россией.

– С Россией?

– Да.

– И дон Гарсия отправится на эту войну?

– Да. И война эта будет ужасна.

Клаудиа не колебалась ни мгновения, и никакие трудности не могли испугать ее. Вряд ли возможно пережить что-то еще более страшное, чем та зима в Сарагосе. Но тогда ей вдруг вспомнилось другое, пронзившее, словно молния. Это прозрение было столь неожиданным, что она не удержалась и колко сказала:

– Но зачем-то все эти годы я учила русский язык и даже сделала в этом, по словам учителя, большие успехи.

Дон Гаспаро долго, молча и устало смотрел на свою воспитанницу.

– Да, я намеревался отправить вас в Россию, но...

– Но что же вдруг изменилось, ваше сиятельство? – насторожилась Клаудиа и, опасаясь новых доводов против своей поездки, решительно сказала. – Ничто не может служить для меня препятствием, ваше сиятельство! Я готова отправиться туда хоть завтра! – и энергично выпрямилась в кресле, всем своим видом давая понять, что дальнейшие разговоры на эту тему бесполезны.

Однако герцог все так же продолжал молчать, устремив глаза на огонь, полыхающий в камине. Затем он встал, как бы говоря тем самым, что аудиенция закончена, и коротко бросил.

– Готовьтесь в дорогу, герцогиня. Вы выезжаете через две недели. Все необходимые инструкции получите накануне отъезда.

На востоке, то трусливо прячась за тучами, то вновь неохотно появляясь на небосклоне, мерцала непривычно мелкая убогая луна. Несмотря на середину июня, было сыро так, что, проведя по обшлаго мундира, граф Аланхэ ощутил под пальцами влагу. Однако в шалаше, наскоро сделанном его саперами, поскольку во французской армии не признавали палаток, стояла такая же сырость. Поэтому граф решил, что, выйдя на воздух, сделал совершенно правильно.

К тому же, спать он все равно не мог: уже давно его мучили даже не столько ночные кошмары, сколько видения дня, с новой силой обрушивавшиеся на его сознание с наступлением

сумерек. И сейчас, вспомнив о ведьмах и кострах Родины, он неожиданно сам для себя улыбнулся – такими детскими показались они вдруг по сравнению с тем, что выпало на его долю. Аланхэ стиснул зубы, и его лицо, и без того бледное, стало почти фосфоресцирующе белым в неверном свете северной ночи. Он ненавидел эти ночи, не густые и жаркие, как в Испании, не спокойные и бесцветные, как в Пруссии, где он проторчал последний год под командой безукоризненного маршала Даву, а эти призрачные, дрожащие, словно в бессилии, польские ночи. Граф вновь передернул плечами то ли от сырости, то ли от омерзения; и у него перед глазами опять встала отвратительная вчерашняя сцена.

Они с генералом д'Алорно, его начальником штаба, возвращались из местечка Понемунь, где ежедневно проводились уже никому ненужные, ибо все давно было решено и так, совещания. Неожиданно за леском послышался шум, ржание многочисленных лошадей и крики. Генералы переглянулись и, не сговариваясь, повернули в ту сторону.

На огромном пшеничном поле во все стороны скакали французские кирасиры, топча и портя зерно. За последние несколько месяцев Аланхэ уже насмотрелся на то, каких трудов стоит не только засеять такие поля, но и реквизировать плоды, снятые с них: выбитые окна, сожженные фольварки, дороги, усеянные оскаленными мордами бессмысленно прирезанного скота, а главное – обреченные на непроглядную нищету сотни людей. Аланхэ сам слышал, как один из его капралов рассказывал, что, по его подсчетам, один французский солдат оставляет нищими никак не меньше сотни поляков.

И вот теперь он несся, забыв, что перед ним не дорога, а полный ямами и завалами лес, и раскаленная добела ярость душила его. Но в то же время граф Аланхэ каким-то странным образом вдруг увидел себя, словно сверху. Он смотрел сам на себя с этого выцветшего неба, видел оттуда свой гнев и печально улыбался, ибо раньше никогда, ни на вымуштрованных парадах в Прадо, ни в аду осажденной Сарагосы, ни в унижительном французском плену, не позволял себе пасть до подобных чувств. «Это возраст», – подумал он, но, не позволив себе размышлять дальше, сжал лошадь шенкелями еще сильнее.

И с той же, так и не сошедшей с ледяных губ улыбкой, он осадил коня прямо перед высоким капитаном в слепящей глаза кирасе.

– Извольте сойти с коня, когда разговариваете со старшим по званию, – почти прошептал Аланхэ и невольно стиснул рукоять плетки. Вся ненависть к французам за все долгие пять лет, казалось, сконцентрировалась для него в этом бравом вульгарном капитане. Тот, удивленно и вполне добродушно оглядел коричневую с красным форму Португальского легиона, красавишущуюся на не вовремя будто с неба упавших генералах, и, пожав плечами, спрыгнул в пшеницу. – Номер полка! Кто позволил вам... портить посевы?

– Это распоряжение интендантского ведомства еще от мая месяца...

– Вы что, капитан, не понимаете, что завтра же бессмысленно попорченного вами зерна не хватит для действительных нужд армии? – спокойно вмешался всегда рассудительный д'Алорно.

– Немедленно соберите людей и ступайте прочь. – Большие, прозрачно-серые глаза обожгли капитана, и он, проклиная про себя всякий иностранный сброд, неизвестно зачем набранный императором, неохотно отдал приказ.

Генералы вернулись на дорогу к реке.

– Благодарю тебя, пресвятая дева Аточская, – поднял два пальца Аланхэ, и в облаке, на мгновение закрывшем солнце, улыбнулось ему черноглазое, в ореоле рассыпавшихся пепельных волос, лицо Клаудии. Какое счастье, что ее сейчас нет здесь, и она не видит всей этой грязи еще не начавшейся войны.

С того времени, как в унылом городке Фуа в Гаскони, где держали пленных испанских офицеров, появился граф де Мурсия и вызволил его из заточения, Аланхэ пробыл с молодой женой не так много времени. Более того, возможно, в самой глубине души, он вообще не хотел

ее видеть, ибо именно она каким-то неведомым ему образом казалась ему тем единственным доводом, который вынудил его, шестнадцатого маркиза де Харандилья, согласиться на унижительные для испанца и аристократа условия освобождения. Аланхэ никогда не забывал и не мог забыть, как бы ему этого ни хотелось, того мрачного зала в городском магистрате, куда его, изможденного, с незаживающей гниющей раной, в обрывках мундира, который он отказывался сменить, вызвал комендант. Обтершееся золото тускло светилось на портьерах и мебели, и такой же слабый свет лился из узких готических окон.

В зале его ожидал все тот же крепкий и коренастый мужчина в темных одеждах, некогда вызволивший Клаудиу, ее отца, брата и Педро Сьерпеса из сданной французам Сарагосы. Мужчина при входе дон Гарсии встал и с легким поклоном обратился к вошедшему.

– Возможно, вы не помните моего имени, ваша светлость. Дон Стефан, граф де Мурсия, к вашим услугам.

– Рад вас видеть. Надеюсь, вы прибыли с добрыми вестями? – равнодушно ответил дон Гарсия, первым садясь в одно из стоящих друг против друга кресел.

Он так же равнодушно и спокойно выслушал слова де Мурсии о том, что Клаудиа, ее отец и брат совершенно поправились, равно как и удивительные новости о Педро, готовящемся к отправке в Америку – и безучастно отвернулся, глядя на причудливый завиток на спинке кресла, уже давно вышедшего из моды. Плен томил его, но еще больше угнетало сознание того, что даже освобождение не даст ему возможности продолжить борьбу против завоевателей.

– Так вы проехали через все Пиренеи только для того, чтобы сообщить мне об этом?

– Разумеется, не только об этом, – осторожно ответил дон Стефан, испытующе разглядывая своего визави. – Но, например, еще и о том, что уже существует договоренность между моим патроном и императором французов о вашем освобождении.

Аланхэ внутренне напрягся, но не позволил себе выдать волнения ни единым мускулом лица и, почти лениво глядя прямо в глаза де Мурсии, ответил:

– Но, как вы должны понимать, это невозможно. Я офицер и дворянин.

Дон Стефан некоторое время молча разглядывал дону Гарсию, словно ожидая от него еще каких-нибудь слов. Но Аланхэ молчал, и Мурсии пришлось первым нарушить тягостное молчание.

– Я сам солдат, ваша светлость. И мне прекрасно понятны ваши чувства. А потому я буду предельно откровенен с вами, – спокойно сказал дон Стефан и, поднявшись, принялся задумчиво расхаживать по залу. Дон Гарсия при этом ничуть не изменил своей отстраненной позы, продолжая задумчиво смотреть в дальний угол, где на консоли стоял бюст Наполеона. – Во время первого моего визита император французов поставил единственное жесткое условие вашего освобождения – служба в его армии. Никакие доводы и никакие указания на ваши подвиги и ваши раны не возымели действия. Я счел эти условия неприемлемыми и, не дав никакого ответа, весьма удрученным вернулся к моему повелителю. Однако наш герцог, ваша светлость, человек воистину великий. Он объяснил мне, что это условие не только не неприемлемо, но и...

– Граф Аланхэ не знает никаких «но и», ваша светлость! – резко оборвал его дон Гарсия. – Передайте мою благодарность вашему патрону, кто бы он ни был, и простите мне то, что ваши хлопоты оказались бесполезными. Мне нечего терять, кроме того единственного, что у меня осталось. Да теперь мне и не нужно большего. И еще. Будьте так любезны, скажите коменданту, чтоб меня увели – в пять мы с офицерами играем партию в трик-трак.

«Бедный и счастливый граф де Мурсия, – думал при этом дон Гарсия, – за его плечами не стоят десятки и десятки поколений, для которых слово «жить» означает «жить безусловно», а сама жизнь отождествляется только с честью».

Дон Гарсия встал, и теперь оба графа стоя мерили друг друга взглядом.

– Так вы отказываетесь, граф?! – не спуская глаз с дона Гарсии, неожиданно прямо спросил де Мурсиа. – Аланхэ даже не счел нужным отвечать на этот вопрос. – Отказываетесь, даже не выслушав *нашего* предложения? – продолжал между тем настаивать де Мурсиа.

Серые глаза на нездорово-белом лице Аланхэ, казалось, рассматривают что-то на самой переносице стоящего перед ним человека.

Де Мурсиа выдержал этот тяжелый, почти непереносимый взгляд знаменитого героя Испании и, подойдя к нему ближе, несколько понизив голос, сказал:

– Вы нужны нашей стране.

– Я уже сделал для нее все, что мог, – устало отвернулся Аланхэ. Ему очень хотелось бросить в лицо этому пышущему здоровьем человеку, что лучше бы он, если и в самом деле солдат, как утверждает, отправлялся бы на баррикады Толосы, чем разъезжать по Европе с какими-то сомнительными намерениями. Однако воспитание не позволяло ему указывать не входящим в его подчинение людям, что они должны, а чего не должны делать.

– Вы заблуждаетесь, граф, извините мою дерзость! – тихо, но твердо ответил дон Стефан и отошел прямо к самому бюсту Бонапарта. Некоторое время он оставался к Аланхэ спиной, словно погруженный в созерцание завоевателя Европы. Затем резко повернулся и жестко, едва ли не со злостью, продолжил. – Еще раз простите меня, граф, но, мне кажется, я понял ваши мысли. Вы считаете, что я напрасно теряю время, что мне следовало бы давно уже превратиться в пушечное мясо и выплеснуть свои мозги на какой-нибудь мостовой в Испании! – Аланхэ пожал плечом, давая понять, что это его не касается, и всем своим видом демонстрируя лишь одно – готовность принять вызов. – Однако в этом мире нет ни одного человека, кто мог бы упрекнуть меня в трусости или в попытке уклониться от выполнения собственного долга. Но я уверяю вас, граф, идти на верную смерть – не всегда самое правильное решение. Лично вы способны гораздо на большее, нежели просто на благородное превращение себя в ничто. Мы с вами должны мыслить стратегически и смотреть далеко вперед.

Вновь повисло молчание, в течение которого оба графа снова испытующе разглядывали друг друга. И дон Гарсия понял, что этот странный человек все равно не отпустит его до тех пор, пока не выскажет все, с чем приехал. Тогда он позволил себе улыбнуться.

– В этом мире никто никого ни к чему и никогда принудить не может, – мгновенно заметив, как смягчился Аланхэ, несколько спокойнее продолжил дон Стефан. – Трус и слабый человек всегда самостоятельно уламывает свою совесть. И именно на этом пути лежит самый обильный источник человеческих бедствий. – Он вздохнул, как вздыхает человек перед неизбежным. – Но мы не собираемся предлагать вам ничего недостойного. В любом случае, вы сделаете ваш выбор сами.

Аланхэ по-прежнему держал на лице улыбку и молчал, однако Мурсиа почувствовал, что его слова все же возымели некое действие.

– В этом зале слишком душно. Я предлагаю пройти немного по здешнему саду и не спеша обсудить некоторые весьма важные вещи. Разрешение у меня на руках.

Аланхэ едва ли не обреченно согласился выйти вслед за доном Стефаном в сад...

Сзади раздался шорох раздвигаемых веток, и из шалаша вылез грузный д'Алорно, всегда и при любой погоде спавший, как сурок. Но, видимо, перед этим рассветом не спалось и ему.

– Чертовские ночи здесь, а, граф? – потягиваясь, сказал он, титулуя Аланхэ графом, поскольку здесь, во французском лагере называть его герцогом Сарагосским было, по крайней мере, нелепо. А ведь он по праву гордился этим своим новым титулом, и теперь процедуру присвоения этого титула он вспоминал как один из самых приятных моментов своего полугодового пребывания в замке д'Альбре. И вот теперь дону Гарсия приходилось едва ли не скрывать свое подлинное имя, что причиняло ему еще большие мучения. Ах, с каким торжеством он бросил бы в лицо всем этим Бергским, Эльхингенским, Ауэрштедтским свое гордое имя героя Сара-

госы! Но Клаудиа и маленький, ни в чем неповинный семнадцатый маркиз Харандилья лишали его этой возможности. А главное – возможность освобождения от этих гортанных иноземцев Испании! И Аланхэ только привычно прикусил губы. – Какая-то склизкая мерзость, а не ночи! То ли дело у нас! – д'Алорно был эльзасцем. – Который час? Впрочем, раньше полудня все равно ничего не начнется, я сам разговаривал вчера с Аксо. А каков манифест! – Д'Алорно вынул из-за отворота мундира сложенную бумажку, очевидно, копию из штаба армии. – «Солдаты! Вторая польская кампания началась. Первая закончилась Фридландом и Тильзитом, где Россия поклялась в вечном союзе с Францией и войне с Англией. Сегодня она нарушила свое обещание – или она думает, что мы потеряли разум?..» – Д'Алорно читал, а луна продолжала все так же предательски скользить за облаками, и от ее зыбкого влажного света дон Гарсия все сильнее охватывала неумимаемая никакой силой воли дрожь. Наконец, заметив, что манифест не производит на графа должного впечатления, д'Алорно сложил бумагу и раскурил трубку. Но на этот раз даже запах дыма, обычно оживлявший Аланхэ, вдруг показался ему неприятным. – Кстати, слышали ли вы про вчерашнее приключение императора?

– Что там опять? Поляки, ломающие шапки перед освободителем отечества или польские панны, устилающие ему дорогу цветами? – скривился дон Гарсия.

– О, совсем в ином роде, граф! На поле выскочил заяц, и Фридланд, эта скотина, которая в другое время спокойно щиплет травку под вой картечи, испугался, понес и вывернул императора из седла.

– Что?!

– О, все в порядке, земля здесь, как пух, и император даже не чертыхнулся, как обычно, в таких случаях, и не послал подальше ни Коленкура, ни Бертье. Правда, говорят...

Но Аланхэ уже не слушал его, придвинувшись поближе к краю обрыва. «Надо же, – думал он, – именно Фридланд, названный в честь одержанной Наполеоном ровно пять лет назад победы над русскими, победы, вынудившей Александра заключить Тильзитский мир... И он споткнулся».

Графу опять вспомнилось, как накануне переправы, уже у самого Немана он и д'Алорно встретились с императором. Наполеон вместе с Коленкуром и Бертье лично объезжал местность для рекогносцировки и приказал генералам присоединиться к свите.

Повсюду были песок и мрачный хвойный лес одинаковые настолько, что генералы свиты несколько раз сбивались с дороги. Они промотались так целый день, и вот уже в сумерках прямо посреди леса жалким огоньком засветилась деревянная часовня. В часовне оказался только один старый ксендз, который, стоя на коленях, горячо молился. Император, войдя в часовню, бесцеремонно прервал молитву старца, как всегда, вопросом без обиняков:

– За кого молишься, старик: за меня или за русских?

Поляк медленно поднял седую голову.

– За вас, ваше величество, за вас, – печально ответил он.

Наполеон довольно улыбнулся.

– Правильно, старик. Именно так и следует поступать правоверному католику и истинному христианину, – затем, подозревая Коленкура, велел выдать старику сорок новеньких франков. Ксендз молча снова опустил голову и еще более усердно забормотал молитвы на своем тарабарском языке.

А Аланхэ тем временем со все нараставшим ужасом слушал, как трое французов принялись оживленно обсуждать столь прекрасное предзнаменование. Дон Гарсия охотно согласился занять место в арьергарде и медленно поехал сзади. Теперь не только лицо его, но и душа, словно окаменели. Неужели этот человек полагает, что несчастными сорока франками он заплатил за всю, в год ободранную до нитки, страну? А главное – неужели все они здесь совсем ослепли, и только ему, истинно верующему сыну Испании, ясен подлинный смысл слов старика? Так молятся только за пропавших, погибших, обреченных...

И вот теперь дон Гарсию еще сильнее поразила эта история с зайцем – два предзнаменования за два дня подряд – священник и заяц, Бог и сама природа... Римляне в этом случае принесли бы богатые жертвы богам и еще неизвестно, выступили бы в поход или нет... А этого безумца, похоже, и впрямь уже не остановит ничто.

Эти размышления вновь вернули графа Аланхэ в сад магистрата Фуа, к странному разговору с доном Стефаном.

Осень тогда расцветила окружающую природу всеми цветами радуги, превратив землю, деревья и самый воздух в какое-то злато-багряно-прозрачное праздничное кружево. Когда они вышли в сад, дышать и в самом деле стало намного легче, и оба некоторое время молча шли, любуясь умирающей красотой окружающего мира.

– Вы, я надеюсь, в курсе последних событий и более или менее представляете себе, чем занят сейчас неугомонный император французов? – прервал, наконец, молчание граф де Мурсия.

– Он готовит армию для вторжения на Британские острова, – спокойно ответил дон Гарсия.

Граф де Мурсия с любопытством взглянул на Аланхэ, словно подозревал в его словах какой-то подвох или недосказанность.

– Это лишь внешний ход дела. Но в чем именно смысл его приготовлений?

– Император французов, отчаявшись заставить европейские державы выдерживать континентальную блокаду, решил лично расправиться со своим главным соперником, с Англией.

Дон Стефан задумчиво тронул золотые кисти своего плаща, и их шелесту слабым эхом откликнулось шуршание листьев под ногами, наполняя воздух ни с чем не сравнимым осенним шопотом.

– В вашем рассуждении имеются два недочета, ваша светлость, – наконец, задумчиво с расстановкой произнес де Мурсия. – Во-первых, Наполеону не свойственно отчаиваться. А во-вторых, не дано переправить достаточное количество сухопутных сил через Канал.

– Ваши утверждения пока для меня столь же неочевидны, ваша светлость, – принимая тон взвешенного рассуждения, отозвался Аланхэ. – Слово «отчаяние» было употреблено мной в условном смысле. А относительно того, что ему не дано переправить достаточное количество сил через Канал... Он настолько изворотлив, что уже умудрился дважды обмануть самого Нельсона, переправив достаточное количество сил в Египет, а затем – благополучно сбежав оттуда.

– Совершенно справедливо. И все-таки я предлагаю вам теперь выслушать нашу версию. Наполеон использует гораздо более простой, на его взгляд, путь. Он нападет на Россию, дабы тем самым уничтожить последнее серьезное препятствие для проведения своей политики на континенте.

– На это я могу ответить вам тем же, ваша светлость, – с усмешкой откликнулся дон Гарсия. – Двумя недочетами вашего рассуждения является то, что, во-первых, нападение на Россию отнюдь не является более простым предприятием, а во-вторых – Наполеон одержим, но не безумен. Территория России огромна. И даже если отстраниться от того, что русские умеют сражаться гораздо лучше, чем пруссаки и австрийцы, они еще могут и отступить вплоть до Камчатки, до невозможности растянув тем самым все коммуникации французов. И, в конце концов, истребят их голодом, морозами и отдельными стычками. Уверю вас, в случае этой войны Наполеон первым запросит мира. И ничего не выигрывает.

– В этом я полностью согласен с вами, граф, – спокойно ответил дон Стефан. – Однако время убедит вас и в моей правоте. Да, Наполеон не безумен, но чрезвычайно самоуверен. И именно трудности предстоящего предприятия являются для него невероятным соблазном. Маленький корсиканец слишком любит доказывать всем на свете, что он способен совершать невозможное. Он уже убедил весь свет, и вас в том числе, что вполне способен перебросить

армию через Канал и разгромить беспомощные сухопутные силы Британии, и теперь, неожиданно для всего света повернет армию против России.

Аланхэ оторвал глаза от багрянца листьев, что устилала их путь, и взглянул на собеседника с недоумением и удивлением.

– Но какое отношение имею ко всему этому я?

– Вы можете иметь к этому самое прямое отношение, – делая ударение буквально на каждом слове и глядя прямо в глаза дону Гарсии, ответил дон Стефан.

– Каким образом?

– Извольте меня выслушать, – и дон Стефан жестом предложил продолжить прогулку по уединенной аллее осеннего парка. Здесь было совсем тихо, и даже отдаленные звуки маленького городка не достигали этих заросших дреком окраин магистратского сада. Дон Гарсия неожиданно подумал, что вот уже сколько времени не был в такой тишине и... в таком одиночестве. – Русский император прекрасно осведомлен обо всем, что творится сейчас в Испании, – продолжил между тем Мурсиа. – И я охотно верю, что в глубине души он признает все это полным беззаконием. Однако на деле Александр смотрит на происходящее за Пиренеями сквозь пальцы. Почему? Потому что ему выгодны наши несчастья. Благодаря этому войска Наполеона ведут боевые действия далеко от границ России, и это позволяет русскому царю чувствовать себя на равных с увязшим в испанском конфликте французским императором. Но Александр пальца о палец не ударит ради того, чтобы помочь нашему сопротивлению; он делает вид, что находится в состоянии дружбы с французами. Эта независимая позиция русского царя, его стремление стоять на равных с великим завоевателем, раздражает Наполеона, она у него словно кость в горле. И, в конце концов, – дон Стефан вдруг остановился и всем корпусом обернулся к тоже сразу же остановившемуся Аланхэ, – и, в конце концов, этот маленький корсиканский капрал ринется на своего, как он выражается, брата, желая загнать его в угол и принудить слушаться. Он даже на это время согласится, скорее, забыть об Испании, чем откажется от осуществления этой своей затаенной мысли. – Аланхэ все также напряженно и выжидающе смотрел на своего собеседника. – И вы, ваша светлость, могли бы в немалой степени способствовать тому, чтобы он свернул себе в этой России шею! Нужно разбудить, раздражить, уязвить этого русского медведя в пятую, чтобы он разъярился и снес на своем пути все препятствия! Сейчас только в этом реальная надежда Испании, – неожиданно энергично и едва ли не со злостью закончил граф де Мурсиа.

Никогда Аланхэ не забудет того вдохновения, каким сиял этот странный граф, предвещая конец Наполеона в России, а тем самым и оккупации французами Испании. И теперь чем дальше, тем больше убеждался он в истинности его провидения. Но до русских было еще далеко, тем более что, согласно всем донесениям разведки, они отступили, освободив весь берег Немана и не проявляя ни малейшего намерения вступить в бой. «Когда же они проснутся?»

Впрочем, Аланхэ прекрасно понимал, что все эти отступления – лишь тактика, и решительная битва, в конце концов, все равно состоится. А когда – не все ли едино: дон Гарсия уже давно разучился и радоваться, и огорчаться, он только следовал своей судьбе. И мысль о неизбежно ожидающей его впереди смерти, которая принесет избавление, снова ожила в сердце шестнадцатого маркиза Харандилья, укрывая его душу покрывалом печального покоя.

Так он простоял все бесконечное утро, сначала глядя, как понтоны наводят мосты, потом, как саперы сооружают для императора перед его сине-белым полосатым шатром некое подобие трона из дерна, веток и мха, а потом – как с холмов оползнем текут войска гвардии.

Наполеон просидел на импровизированном троне совсем недолго, но, тем не менее, среди купы зелени успел напомнить дону Гарсии о том, что сегодня день летнего солнцестояния. «Император выглядит настоящим Обероном», – усмехнулся он. А войска шли все медленнее,

поскольку в рыхлом прибрежном песке безбожно застревали орудия, ломали ноги лошади и вязли солдатские сапоги, которые приходилось оставлять, чтобы не задерживать движение. И когда первые полки подошли к понтонам, губы дон Гарсии искривила холодная усмешка: зрелище было весьма непрезентабельно. Он прикрыл ладонью уставшие от солнца и напряженного разглядывания глаза, и снова перед ним двинулись сверкающие серебром и белизной ряды королевских гвардейцев вперемешку с окровавленным потоком защитников Сарагосы... В гордых испанцах было больше красоты, чем в этом гомонящем потоке в первые часы надвигающейся войны французской гвардии.

Португальский легион, входящий в состав третьего корпуса маршала Даву, переправился только на следующий день, к вечеру, когда вновь начали опускаться на берега Немана холодные сырые сумерки. Можно было подумать, что река разделяла собой два царства – живых и мертвых. Русский берег выглядел печальным и диким: бор, холмы, пустота... Отдав все распоряжения, какие можно было отдать в полной неразберихе еще не закончившейся переправы, Аланхэ снова вышел на берег, на этот раз пологий и низкий, придавленный то ли массой войск, то ли тяжелым небом, то ли печальным будущим. Отвратительно, въедаясь прямо в душу, звенели миллионы комаров, заглушавшие даже гул передвижения тысяч людей. Но дон Гарсия стоял неподвижно, глядя на безучастную ко всему водную гладь, и в тысячный раз заново решал вопрос о том, прав ли он был в тот золотой полдень в Фуа, теперь приведший его, возможно, на путь бесчестья во мрак России.

Неожиданно за его спиной раздалось веселое теньканье какой-то птицы, и столько радости жизни было в этом звуке, что Аланхэ невольно обернулся. Словно в ответ на его движение, кусты зашевелились, и показалась высокая фигура стрелка неаполитанских частей. Аланхэ положил руку на эфес: неаполитанские солдаты славились по всей армии недисциплинированностью, буйством и откровенной склонностью к грабегам и побегам. И вот один из них в своем оливковом мундире, делавшем его почти неотличимым от ивняка, двигался прямо на него решительной и сильной, но в то же время неслышной кошачьей походкой.

– Стоять! – тихо и властно приказал Аланхэ. – Рота, батальон?

Но неаполитанец, ничуть не собираясь выполнять приказания старшего по званию офицера, в два прыжка оказался рядом.

– Здравия желаю, мой генерал! – И его широкая белоснежная улыбка осветила серые сумерки.

– Сьерпес! Да вы теперь... кавалерист...

– Да, теперь я всего лишь первого эскадрона второго кавалерийского неаполитанского короля полка штаб-ротмистр Пьер де Сандоваль, – рассмеялся Педро, и Аланхэ действительно увидел на нем золотой витой шнур офицера. Они крепко пожали другу руки.

– Но каким образом вы здесь? Насколько я знаю, последние годы вы находились за океаном и вполне успешно осваивали курс Вестпойнта – во всяком случае, таковы были последние новости, сообщенные мне доном Гаспаро полгода назад.

Педро длинно присвистнул.

– Полгода – огромный срок, генерал. Мальчишка Игнасио, например, за эти полгода из рядового гверильяса превратился в командира неплохого отряда и правую руку эль Эмпесинадо.

– Так я и думал... – пробормотал дон Гарсия. – Так Хуан Мартин еще жив?

– Такие люди как эль Эмпесинадо погибают или сразу – или никогда. И, слава Богу, иначе ваш сумасшедший юный шурина давно сломал бы себе шею, если не в вылазках, так в поисках своей недосыгаемой любви.

Но Аланхэ, поглощенный другими заботами, не обратил внимания на этот пассаж.

– Что вы думаете обо всем этом, Педро? О том, что там... у нас, и здесь. И почему вы, герой Сарагосы, наследник славного имени испанского дворянина, находитесь теперь в армии узурпатора, в частях этого итальянского сброда, а не?..

Генерал не договорил.

Педро откинул со лба все те же смоляные, густые кудри и тяжело вздохнул.

– Такой вопрос нельзя обсуждать мимоходом, граф, – начал, было, он, но тут вдруг до них донеслось:

– Сандоваль, эй, Сандоваль! Где ты запропастился?!

– Увы, генерал, меня зовет мой нынешний командир. Он, конечно, не стоит и одной вашей пуговицы, но... я вынужден подчиниться.

– Быть может?..

– Нет, ваше сиятельство, не стоит вмешиваться. Мы с вами еще увидимся. А пока примите один дельный совет, каким бы странным, на первый взгляд, он вам ни показался.

– Какой же?

– Во что бы то ни стало добудьте своим лошадям овса. – Дон Гарсия вскинул брови. – Если не удастся, то заставьте их жевать хотя бы ветки, как бы они ни рвались к одной только свежей траве. Я никогда не говорил вам ничего лишнего, мой генерал. И еще... – Тут Педро с тревогой посмотрел на северо-восток, где прозрачное и тихое небо, снова сулило жаркий день, и на лице его отобразилось сомнение. – Возможно, я и ошибаюсь, но предупрежден – значит, вооружен, не так ли? Через пару дней может разразиться такая буря, что потреплет нас не хуже русских. Постарайтесь принять меры, если сможете. До встречи...

Аланхэ снова повернулся к берегу. Вода была неподвижной, словно в озере. «Какая к черту буря. Как странно, – подумал он. – Мы оба думали сейчас только о ней, но ни он, ни я не обмолвились об этом даже словом. – И вдруг его пронзила ужасная мысль. – Если здесь появился Педро, значит... значит...», – и даже в мыслях не договаривая того, что это значит, граф Аланхэ, заставляя себя идти медленно, направился в небольшое селение, где разбила бивак пехота князя Экмюльского.

## Глава вторая. Маленький маркиз

Наконец, основные силы Наполеона переправились через Неман и, нигде не встречая никакого сопротивления, двинулись вглубь России. А граф Аланхэ, не слезая со своей бело-снежной лошади, с облегчением окунулся в заботы кампании, длинными переходами и бессонными ночами стараясь заглушить тоску, поселившуюся в его сердце с той роковой осени. Тогда, всего лишь дав слово графу де Мурсии, Аланхэ сразу же получил отпуск на шесть месяцев. И едва он пересек горы и оказался в Наварре, как за несколько лиг от замка его встретила подстава дон Гаспаро, уже давно поджидавшая его со свежими лошадьми. Кучер сходу пустил их едва ли не в карьер. Аланхэ упорно молчал.

– Герцогиня-то... – не выдержал все же кучер, косясь на него недоверчивым глазом, – еще с ночи того... Храни ее пресвятая дева дель Пилар!

Но его пассажир отнюдь не приказал ехать быстрее. Чем больше он приближался к замку, тем червь сомнения все сильнее начинал глотать его душу. А не совершил ли он все-таки позорную сделку со своей совестью? Сейчас его ждет Клаудита, его жена, которая вот-вот родит сына. Его сына! Кто поверит ему, что он подписал контракт не из подленького желания еще раз оказаться рядом с молодой и прекрасной женой и обнять сына?! Кому сможет он объяснить все эти вилами по воде писанные расчеты Мурсии и его повелителя? Впрочем, дело не в объяснениях кому бы то ни было. Главное – убедить самого себя!

«Сын... сын... семнадцатый маркиз... – словно замороженный, опять стал мысленно в такт перестуку копыт повторять он. Но сердце его оставалось глухо, и только груз будущей ответственность еще одной тяжестью ложился на его плечи. Аланхэ поводил плечами, словно желая сбросить с себя нечто давящее, но дон Стефан с его проникновенным взглядом вновь появлялся перед ним, как наяву.

– Итак, ваша светлость, ваш выбор теперь прост – либо вы бесполезно погибнете здесь, в плену...

– Уверяю вас, в этом нет ничего особенно страшного. Правда, это было бы лучше сделать где-нибудь на редуте Сан Хосе...

– Однако Господь не дал вам этого. Но у вас есть шанс, если вы непременно хотите погибнуть, погибнуть все-таки с пользой для Испании.

– Ваши расчеты могут не подтвердиться, граф.

– Вы в любой момент вольны сами распорядиться собой, а теперь... – де Мурсия замолчал, размышляя, говорить или нет то, что сказать он еще не решил, не выложил сразу. – Я, вероятно, не должен был бы говорить вам, но... Но неужели вы не представляете себе того отчаяния, в которое ввергнете своим непременным желанием умереть здесь, в плену, сеньору Клаудиу, вашу законную супругу? Ведь она и так перенесла слишком много для женщины и сейчас живет только одной надеждой на ваше возвращение. Почему ради безупречности вашей чести должна страдать ни в чем неповинная, достойная женщина, ваша жена, в конце концов?

– Вы забываетесь! Я пленный, но все же пока еще дон Гарсия де Алькантара Доминго де Аланхэ, шестнадцатый маркиз Харандилья, и честь для меня всегда превыше всего! – неожиданно вспыхнул Аланхэ.

– Но ваша честь останется безупречной.

– Больше того, что я уже сказал, я ничего не могу добавить вам, граф, – холодно ответил Аланхэ.

– Нет, ваша светлость, вы еще не все взвесили на своих весах. Теперь кое-что изменилось... – и после непродолжительного колебания дон Стефан решительно закончил. – У вас будет сын!..

Аланхэ отшатнулся, словно от удара, и де Мурсии показалось, что он сейчас рухнет. Но дон Гарсия жестом остановил его поддерживающее движение и только прикрыл глаза, словно наяву видя перед собой полураскрытые губы Клаудии, обреченно искавшие его. Он вспомнил ее почерневшее, в крови и копоти лицо, ее точеное тело на соломе в полуразбитом подвале на Эскуэлас Пиас – и, наконец, свое желание, в десятки раз обостренное неизбежной смертью... А затем, всего на долю секунды, его плоть ожгло воспоминание о поцелуе в мертвые губы на мадридской улочке Сан-Педро...

Испания! Звон гитары и треск кастаньет, гортанные песни и темные страсти...

Однако Аланхэ колоссальным усилием воли справился с собой и обернулся, чтобы посмотреть прямо в глаза графа де Мурсии.

– Ваши сведения достоверны... вполне?

– О, да, да! Это засвидетельствовал придворный врач, и... младенец уже заявляет о себе сам! Вы не можете убить двоих, граф! – На посеревшем лице Аланхэ отобразилась мучительная борьба. – Вы не посмеете уничтожить жизнь, зародившуюся среди чудовищных страданий и являющуюся символом победы духа испанского народа! И если он сумел выжить во чреве матери в такие непереносимые времена, то это промысел Божий, Его знак и Его веленье! Если вы пренебрежете им сейчас, его мать угаснет и погасит светоч жизни, олицетворяющий непобедимость нашей родины... Потому что... Да как вы не понимаете, в конце концов, если вы хотя бы раз не положите вашей отцовской руки на голову сына, он вырастет... неполноценным. Вы этого хотите?!

– Какие документы я должен подписать? – прикрывая глаза и в первый раз опускаясь на кресло, сухо проговорил Аланхэ.

– О, что вы, что вы, граф, сейчас довольно лишь одного вашего слова!

– Я даю его.

И только в этот момент сознание надолго покинуло дону Гарсию.

Успокоенный граф де Мурсия уехал, а дон Гарсия на следующее утро после их разговора впал в горячку. Несмотря на лечение, поданное лучшими врачами Гаскони, еще почти месяц Аланхэ находился между жизнью и смертью, а потому прибыл в замок д'Альбре лишь в конце октября. Его решение стоило ему не только тяжелейшей горячки, едва не сведшей его в могилу, но и ставших с тех пор постоянными мучений совести от наползающего на безупречную вековую честь пятна. «In terries et in caelo» – «На земле и в небе», – в который раз вспомнил он свой девиз. И в который раз подумал: «Неужели земле все-таки дано победить?»

Весь месяц, в бреду, в бессоннице, ему все мерещились те тыквы, которые он в детстве рубил саблей как головы морисков, но теперь эти тыквы глядели на него мутными глазами новорожденных, и занесенная сабля бессильно и медленно выпадала из его смуглой, тоже еще детской ручонки. И когда кризис миновал, Аланхэ ничуть не обрадовался, ибо тайно желал теперь только одного – умереть, и спасение свое воспринял лишь как крест.

Та осень была теплая, роскошная, видимость в хрустальном воздухе гор стояла удивительная, и Аланхэ, останавливая карету, часами смотрел на Ронсевальское ущелье, слава которого жгла и уязвляла его измученную душу.

Да, он любил Клаудию, он восхищался ее мужеством и красотой, но теперь почему-то даже тот факт, что при позоре и поражении Испании они оба не только выжили, но и зачали новую жизнь, казался ему постыдным. Они должны были с честью выполнить свой долг и погибнуть, как погибла та девушка на улочке Сан-Педро. И он в который уже раз вспоминал ее полудетское лицо и еще не остывшие губы. Мертвым нет позора...

Наконец они въехали в аллею замка. Надвигался вечер, и навстречу им уже ковылял, спеша, дон Рамирес со слезами на морщинистых щеках.

– Слава Богу, вот и вы, герцог! – Они обнялись. – Два часа назад Господь даровал вам сына. Все живы, и мать, и младенец... – И старик, за последние сутки вновь въеве переживший весь ужас рассказов о рождении собственного сына, не стесняясь, разрыдался.

– Полно, дон Рамирес, полно, мы переживали с вами и не такое, – одними губами улыбнулся Аланхэ и прошел переодеться в уже приготовленные для него покои.

Мальчик родился светлым, серебряно-розовым, с пепельными волосами матери и жемчужными глазами отца, и дон Гарсия часами задумчиво смотрел на него, как смотрел незадолго до этого на долину Ронсевалья. А через полгода, неожиданно быстро полностью оправившись, не дожидаясь приказа, Аланхэ уехал в Бранденбург, в Пренцлау, где стояли части самого талантливого и самого жестокого маршала Франции Даву.

Там он получил чин полковника, поскольку французы признавали лишь звания, присвоенные при законном правительстве, то есть при Карлосе. Однако, восстановившись в прежнем чине, но находясь теперь среди болотистых равнин и низкого неба, в жалких провинциальных домишках, Аланхэ часто вспоминал свою скромную квартиру на Сен Блас, белую лестницу на плац, запах апельсинов и дорогой кожи. Кстати, раньше так часто мучившие его мигрени после ранения совершенно исчезли. Не делая ничего, кроме пунктуального исполнения приказов, дон Гарсия, тем не менее, быстро продвигался по службе и на рождество одиннадцатого года получил звание генерала и задание сформировать отдельный Португальский легион – назвать легион испанским не давала так и не прекращавшаяся за Пиренеями война.

Легион создавался по набору, и только поэтому граф терпел присутствие в нем около трех тысяч своих соотечественников. С испанскими же волонтерами, входившими в полк Жозефа Бонапарта, он старался вообще не иметь никаких дел и презирал полковника Дорейи, ими командовавшего.

За все это время он всего лишь раз заехал под Памплону, когда Клаудиа написала ему, что сбежал Игнасио. Аланхэ понимал, что удержать восемнадцатилетнего юношу в спокойствии и бездействии, когда полыхает полстраны, невозможно, но все же навел кое-какие справки. Разумеется, в действующей армии мальчика не оказалось, и графу осталось лишь успокоить жену тем, что у Игнасио уже довольно военного опыта. Нардо вырос, но дон Гарсия почти не обращал на него внимания, в этот приезд больше всматриваясь в Клаудию. В ней появилась суровая и то же время нежная красота много испытавшей женщины, ум стал более изощренным, а ласки – более жгучими. Ей исполнилось двадцать семь, и от той девочки, которая стояла у окна во дворце Мануэля Годоя, остались только тонкая девичья фигура и проникающие прямо в душу глаза...

Аланхэ отвел взгляд от призрачного облака, вновь показавшегося ему ликом Клаудии и пришпорил коня.

Разбушевавшаяся стихия утихла только на четвертые сутки. Однако лишь еще через день Клаудиа смогла продолжить путь, поскольку все дороги и пути превратились в сплошное месиво грязи.

Теперь к переправе ее повозку сопровождал целый взвод, возглавляемый молодым виконтом. Лейтенанту удалось убедить начальство, что до начала военных действий он со своими людьми, помимо фуражировки, может выполнить и еще одно, весьма деликатное поручение: сопроводить жену и сына командующего Португальским легионом генерала графа де Аланхэ.

Поначалу, удерживая Клаудию в избе, баловень парижских гостиных про себя смеялся, на самом деле совершенно не веря в то, что простой дождик, пусть даже и с грозой, может быть чем-то страшен. Однако потом он день за днем благословлял судьбу за то, что эта неожиданная гроза дала ему возможность вот уже пятый день находиться рядом с этой пленительной женщиной, настоящей испанкой, именно такой, какими он и представлял себе всегда гордых

красавиц этого полуострова. Ламбер, галантно выполняя все ее милые безобидные прихоти, играл с мальчиком, похожим почему-то на славянина и, кажется, лишь один во всей армии был доволен этим налетевшим вдруг ураганом. Более того, благодаря этому маленькому дезертирству виконт сумел уберечь в целостности и сохранности все свое небольшое подразделение и его имущество, за что не только солдаты, но впоследствии и начальство оказались ему весьма благодарны, сочтя это мудрой предусмотрительностью. Другим же досталось весьма изрядно. «Воистину, она приносит мне счастье», – в который уже раз подумал виконт, сообщая очаровательной спутнице последние сводки.

– Сегодня целый день подсчитывали ущерб от этой бури, – делился он, картинно гарцуя рядом с ее фурой на своем вороном, – Кошмар! Одних только лошадей погибло пятьдесят тысяч! Да и новобранцев сильно поморозило. А у русских за пять дней войны – ни одного убитого офицера! Что за чертовщина?

Окружающая местность до сих пор все еще представляла собой унылое зрелище, повсюду и в самом деле валялись многочисленные, захлебнувшиеся в жидкой грязи мертвые лошади с переломанными ногами.

Какой ужас! Клаудиа неустанно молилась о том, чтобы дон Гарсия и его подчиненные оказались избавленными от подобных последствий, и при этом тайная запретная мысль согревала все ее существо: «Быть может, он все же увидит и почувствует, что мое присутствие приносит всем лишь облегчение и свет. И тогда его сердце смягчится...» Тут она взглянула на посапывающего перед ней в импровизированной дорожной кровати маленького маркиза. «Хорошо ли усвоил он мой урок? Не растеряется ли при встрече с отцом? Такой маленький... такой хрупкий...»

Широкая песчаная дорога бежала уже по России, легион стоял у деревни с непроизносимым названием Киргалишки, и до встречи с мужем оставалось теперь лишь час, много полтора. Глядя на удивленных португальцев, провожающих глазами открытую фуру с молодой дамой и ребенком, Клаудиа вдруг вспомнила другие мгновения своей жизни: апельсиновый цвет Португалии, божественный аромат и безумное счастье в объятиях своей детской мечты. Тогда она тоже встречала повсюду удивленные взгляды солдат. Но возможно ли, возможно ли повторение счастья в этом мире? В этом мире людей, столь скупых на проявление чистых чувств...

Педро валялся на берегу петляющей, как заяц, речушки Вилии и с аппетитом жевал хлебец, за талер принесенный ему евреем, одетым в какой-то смешной длинный лапсердак. Вообще за пять дней кампании он пока еще не видел ни одного русского: все деревни стояли пустые. Зато евреев было много, и Педро весьма дивился этим странным людям, поскольку никогда не видел их в Испании. Все эти то низкие и какие-то бесформенные, то высокие, с длинными рыжими бородами, худые и болтливые люди сначала недоверчиво смотрели исподлобья, а потом бросались целовать обшлага мундиров и предлагали себя для любых услуг. Впрочем, без них все действительно сидели бы голодом, ибо они не только продавали провиант, но за отдельную плату проводили фуражиров в глухие места, где была спрятана местными жителями богатая пожива.

Именно такого фактора Педро и послал вчера в главную квартиру неаполитанского корпуса в Кокутишки, где стояло почтовое ведомство. Разумеется, он мог съездить туда и сам, ибо вошедшая в обыденность расхлябанность неаполитанцев позволяла многое даже в военное время, но предпочел за это время получше ознакомиться с обстановкой и проверить кое-какие свои соображения. Полтора года школы Вестпойнта и год то мирного, то военного общения с краснокожими научили Педро многому такому, чего не могли дать ему ни служба в полубутафорской королевской гвардии, ни даже осада Сарагосы. Тогда, летом девятого года, когда стала совсем явной беременность Клаудии, он еще какое-то время заставлял себя держаться, как ни в чем не бывало, хотя многие ночи, как бешеный, скакал по окрестностям замка, едва не воя

от ревности и в любой момент готовый опять убежать к гверильясам в горы. Но Педро был не из тех людей, что повторяют одни и те же ошибки дважды. К тому же, теперь он носил славное имя де Сандовалей. Кроме того, он слишком хорошо помнил смерть несчастной Марии де Гризальва – а если что-нибудь случится и с Клаудией? Ведь в тот раз, если бы не он, еще неизвестно, выжил ли бы Игнасио или нет. А ведь тогда Педро был еще совсем ребенком... И Педро снова возвращался в замок, проклиная себя и свои чувства, которые за столько лет, казалось, научился держать в узде, но которые сейчас снова вырывались из-под контроля, будто ему было всего шестнадцать. Но никогда, даже в самые отчаянные и черные минуты, не колебалась ни его святая преданность к той, что вызвала эти чувства, ни уважение к отцу ее будущего ребенка.

Но вот как-то в начале осени дон Гаспаро пригласил его к себе в кабинет для конфиденциального разговора.

– У меня есть к вам одно интересное предложение, сеньор де Сандоваль, – как всегда мягко, начал герцог. – Но сначала скажите мне, считаете ли вы, что ваша военная квалификация действительно соответствует вашему званию капитана?

Кровь бросилась Педро в лицо.

– Кажется, я не давал повода...

– Разумеется, нет. Я говорю не об этом. Дорогой капитан валлонских гвардейцев, вы никогда не задумывались о том, что существует некая военная наука, включающая в себя понятия фортификации, баллистики, алгебры, а также тактики и стратегии ведения боевых действий? Не кажется ли вам, что при всех ваших блестящих боевых качествах все это осталось несколько... за бортом?

Педро потупился, но уже только для того, чтобы скрыть вспыхнувшие от радостного предчувствия глаза.

– Вы абсолютно правы, ваше сиятельство.

– Или стезя профессионального военного мало заботит вас?

– Напротив, я думаю, что это единственно верное приложение моих сил в этом мире, – твердо ответил Педро, глядя прямо в глаза своего повелителя.

– В таком случае следует изучить все, что относится к профессии, причем, насколько возможно наиболее лучшим образом, не так ли?

– Совершенно верно, ваше сиятельство, – Педро уже и не думал более скрывать свою радость.

– Но какую именно школу хотели бы вы закончить? Скажу сразу, что, к сожалению, не могу предложить вам в этом случае домашнего воспитания, не столько потому, что не располагаю возможностями, сколько из-за малой эффективности подобного вида образования в таких делах.

Педро на мгновение задумался. Положа руку на сердце, он мало разбирался в котировке военных учебных заведений. Желание закончить Мадридскую школу военных моряков, которую некогда прошел его отец, в ближайшее время было неосуществимо, да и не в море тянуло его, а в кавалерию. Но где учили кавалеристов, он не знал.

– Еще во время службы при дворе, то есть будучи фактором Фердинанда, – тут же смущенно поправился Педро, – я слышал, что в последнее время очень сильна школа в Валансе. Ее закончил... Наполеон... – с трудом выдавил он и с опаской посмотрел на герцога.

– Однако вы с трудом представляете себе возможность обучения на французской земле, – с усмешкой подхватил его мысль дон Гаспаро. – Да и я никогда не предложил бы вам этого места, а то не дай Бог, вы устроили бы там новую Сарагосу.

Оба засмеялись, после чего дон Гаспаро некоторое время испытующе смотрел на своего верного капитана.

– А как вы считаете, господин капитан валлонской гвардии, – вдруг серьезно спросил герцог, – дело, которому мы с вами служим, является достойным или постыдным?

Педро на какое-то мгновение даже опешил от неожиданности, но затем твердо сказал.

– Дело, которому служите вы, ваше сиятельство, ни при каких обстоятельствах не может оказаться постыдным.

Герцог бросил быстрый взгляд на стройного, стоящего перед ним едва ли не по стойке смирно мужчину, и, словно отблеск чего-то невозвратно далекого промелькнул у него в глазах.

– Вижу, что вы говорите это искренне, дорогой Педро, – однако совершенно спокойно сказал он. – А потому без лишних слов перейду прямо к делу. Садитесь же, разговор у нас будет не из коротких, – герцог жестом указал на стул по другую сторону своего небольшого письменного стола. – И слушайте, не перебивая.

Последовала довольно длительная пауза, во время которой Педро успел сесть, даже положив локоть на край стола ради пушей непринужденности, и снова вскочить, увидев, что герцог встал и направился к шкафу. Но дон Гаспаро достал оттуда ничуть не ландкарты и не документы, как ожидал Педро, а всего лишь кувшин с тягучим рубином темпронильо и два бокала.

– Отныне вы для меня больше не капитан валлонской гвардии, – начал дон Гаспаро, сделав глоток вина и предлагая Педро последовать его примеру. – Впредь вы будете занимать должность и носить звание сообразное обстоятельствам и времени. Безусловно, я мог бы устроить ваше обучение в действительно лучшей европейской школе в Валансе. И вы поехали бы туда и безропотно сносили бы все, что выпадало бы там на вашу долю ради ее успешного окончания. Но я не пошлю вас туда и сделаю это не из-за ложно понимаемой гуманности, а только потому, что в данный момент существует гораздо более сильная военная школа, – дон Гаспаро вновь сделал паузу, пригубил вино и продолжил уже значительно менее властным тоном. – Лет двадцать назад за океаном было создано великолепное военное училище с весьма непривычным для нашего уха названием Вестпойнт. Над ним не властны ни руководители государства, ни отцы церкви, преподаются там подлинные знания, и окончивший это училище выходит оттуда человеком весьма образованным. Он прекрасно знает основные европейские языки, овладевает основами искусств и наук. Более того, он – ботаник, чертежник, геолог, астроном, инженер, солдат. Но самое главное: он становится человеком, способным занимать высшие должности в государстве, умеет грамотно руководить и командовать, при этом оставаясь способным и к повиновению, и точному выполнению поставленной задачи. Но в результате само обучение в Вестпойнте является делом очень и очень непростым. Я имею в виду то, что при возможности рекомендовать вас туда, все-таки не буду иметь затем и малейшего шанса помешать руководству училища отчислить вас в случае неуспеваемости по какому-либо предмету.

– Вы можете быть уверены, ваше сиятельство, что вам не придется краснеть за меня, – ответил Педро, уловив на себе испытующий взгляд герцога.

– Я знаю, сеньор де Сандоваль, – спокойно сказал герцог. – Экзамены на поступление, так уж повелось, все претенденты сдают в первый вторник марта, и вам предстоит сдать алгебру, геометрию, литературу, древнюю и современную историю. Поступившие приступают к занятиям в первую неделю июля. Вы будете получать тысячу долларов в год плюс прогонные, а по окончании обретете лишь звание сублейтенанта. Рост ваш – вполне подходящий...

– Какой рост? – не удержался Педро.

– Туда принимают молодых людей ростом не ниже метра семидесяти пяти, – усмехнулся дон Гаспаро. – А вот возраст... К сожалению, вам уже далеко за двадцать два. Но это я берусь уладить. И, к счастью, вы еще не успели жениться. Надеюсь, вас не испугает перспектива учиться вместе с двумя сотнями двадцатилетних юнцов, не нюхавших пороху?

– Что вы, ваша светлость!

– В таком случае, приступайте к подготовке. Времени у вас не так уж много. Все подробности вашей подготовки и необходимую помощь получите от графа де Мурсии...

И вот в наступившее следом за этим разговором лето Педро уже сидел за жестким столом Вестпойнта. Так он оказался там, где не бывал даже его отец, избороздивший немало морей и океанов.

А теперь Педро оказался у истока настоящей большой войны, что должно было стать в его военной карьере великолепной практикой. Но пока, в эти первые дни, ему требовались совсем иные знания. Он бродил по бивакам, глядя, как ведут себя кони и полковые псы, уходил подальше от дорог, слушал воду в многочисленных ручьях и кваканье лягушек в болотах, рассматривал цветы и травы, еще не затоптанные в лугах войсками, а ночью прислушивался к крикам лесных птиц. К утру он позволил себе даже немного поспать под присмотром верной Эрманиты, которую хотя и забрал из конюшен д'Альбре, но старался не использовать под седлом, купив по дороге в армию пару отличных горных лошадей, невзрачных, но с густой шерстью и выносливых. Даже в это суровое время, когда от поведения коня сильно зависела жизнь всадника, он никогда не пользовался мундштуком, причиняющим коню лишние мучения, а полагался лишь на легкие трензеля – и Эрманита еще ни разу не подвела его.

К полудню отправленный еврей вернулся с конвертом из синей толстой бумаги, в которую обычно заворачивают сахарные головы. И Педро с интересом погрузился в письмо, не забывая, впрочем, то и дело поглядывать на небо и Эрманиту, словно проверяя себя.

*«Любезнейший капитан и первейший друг мой!*

*Благодаря оказии, представившейся мне после нашего удара по Асторге и взятию многих пленных, среди которых оказался и польский вольтижер, ты, надеюсь, читаешь сейчас эти строки. Ты знаешь, пленных мы не берем, но, увидев этого господина, я упробил известное тебе лицо и отправил этого малого с моим письмом на родину. Написал бы, что известное тебе лицо тебе кланяется, но, увы, оно только понимающе на меня посмотрело – и то слава Богу.*

*Весьма удивлен находжением твоим среди неаполитанцев, хотя, впрочем, и догадываюсь о причинах. Будь осторожен: здесь многие надеются на русских, а известное лицо и вовсе уверено, что медведю задрать петуха ничего не стоит.*

*Мои дела практически все в том же положении. Я по-прежнему бросаюсь в самые горячие схватки и первым вызываюсь на все дела, не теряя надежду, что где-нибудь, в какой-нибудь Богом забытой деревушке, в Минхо или в Манче встречу ее. Меня приводит в отчаяние только одно – недоступность Мадрида, где шерстят всех и каждого, из-за чего находиться там больше двух-трех дней невозможно. К тому же, слишком много людей могут меня узнать и вспомнить, несмотря на минувшие четыре года.*

*Но я то и дело все-таки заглядываю туда, и скажу тебе прямо, город ныне в ужасном состоянии. Повсюду полно нищих, голод выгоняет людей на улицу. Они так и спят прямо на улицах, среди отбросов, в которых постоянно копаются в надежде найти хотя бы что-нибудь съестное. Говорят, уже около двадцати тысяч умерло с голоду. Все здесь так и дышит смертью. На Платериас, Сан-Фелипе и Пуэрта-дель-Соль царит гробовая тишина. Множество зданий разрушено; разбиты церкви Сантьяго, Сан-Хуан, Сан-Мигель, Сан-Мартин, Мостенсес, Санта-Ана, Санта-Клара, Санта-Каталина, рука отказывается писать далее... Вокруг дворца и вообще одни развалины.*

*И кругом разгуливают французы! И все они такие сытые, веселые, самодовольные...*

*Но не буду больше об этом. Мы идем на соединение с Лордом в составе так называемой Эстремадурской армии под командой Карлоса Эспаньи. Нам надо объединить все наши силы и хорошенько ударить по этим чертовым узурпаторам. Все вместе мы разобьем их...*

*Вот только бы мне успеть найти ее. Я ищу и буду искать ее до тех пор, пока не найду, а если не найду, то умереть в наше время легче легкого. И посему еще раз настоятельно прошу тебя сейчас, когда ты уже не на тысячи миль от меня, а все-таки намного ближе – скажи мне все, что ты знаешь, а ты знаешь, Педро, я чувствую это, я знаю! Я не могу жить, не увидев ее, даже если это сам дьявол в девичьем обличье! Ты сам знаешь, что такое любовь, но свою любовь ты можешь видеть, говорить с ней, ты нужен ей, а я даже не знаю имени! Умоляю тебя, Перикильо, или я отчаюсь окончательно и...*

*Прости меня, капитан. Прости мне мой минутный порыв. Жду и надеюсь, средство связи прежнее.*

*P.S. Здесь все только и говорят, что о походе коротышки в Россию. Нам это очень на руку.*

*Но прощай. Твой друг и брат И. Г. 18 мая, в горах Кантабрии, под Леоном».*

Во время чтения лицо Педро несколько раз менялось от насмешливого до нежного, и, наконец, сложив бумагу, он пробормотал:

– Бедный мальчуган! Как объяснить ему, что надо только очень хотеть и уметь ждать – все остальное бесполезно.

Все чаще поглядывая на небо, действительно начинавшее принимать зловещий лиловый оттенок, Педро быстро набросал ответ, вручил его все тому же не отходившему далеко в надежде новых выгод ушастому еврею и свистнул Эрманиту.

К удивлению товарищей, он прошел бивак, прихватил с собой обеих своих горянок, мальчишку-тамбурмажора Марчелло и увел их не к реке, которую предстояло перейти к вечеру, а в лес, угрюмо темневший на ближайших склонах.

– Эй, Петруччио, ты не перепутал ли направления? – крикнул ему вслед кто-то из сослуживцев.

– Скоро будет дождик, друзья мои, – равнодушно отвечал Педро. – И я бы советовал вам заранее позаботиться о крыше над головой.

– Ай, да вояка! – Загоготали итальянцы. – Уж не свинцового ли дождика ты так испугался, Петруччио?

– Я страшусь, друзья мои, вовсе не свинцового дождика, а вон тех вон свинцовых русских туч, – спокойно парировал штаб-ротмистр, – и совсем не хочу лишиться животных, за которых выложил немалые денежки...

Скрывшись в лесу и забравшись там почти на вершину одного из высоких холмов, Педро завел всех трех своих лошадей в огромную яму-пещеру, образовавшуюся, вероятно, от когда-то вывернутого с корнем дуба. Она была вместительна и суха, поскольку при ливнях вода с холма скатывалась мимо, образуя как бы завесу у входа.

– Сиди здесь, и что бы ни случилось – не высовывайся, – приказал он чернявому мальчишке, который чем-то напоминал ему себя самого двадцать лет назад. – Твое дело – чтобы лошади были спокойны, вот и все. Вот тебе хлебец, а воды будет и так довольно. Я сам за вами приду, когда все кончится. – Потом он обнял Эрманиту, с наслаждением вдыхая острый, до спазм в сердце знакомый, но никогда не надоедавший ему запах лошади. – Все хорошо, моя девочка, все хорошо. Ничего не бойся и жди меня.

«Пресвятая дева дель Пилар, – мысленно молился Педро на обратном пути в лагерь, – сделай так, чтобы *она* не оказалась сейчас ни на дороге, ни на переправе! Охрани ее, пресвятая дева, удержи на той стороне, подай помощи и совета!»

Не успел Педро вернуться к биваку, как хлынул дождь, мгновенно превратив всю деревеньку в непролазное море грязи, и раздался оглушительный раскат грома. Нерасседанные лошади вырывались с коновязей и, потеряв от внезапно нахлынувшего на них страха головы, носились среди лачуг, сбивая с ног людей, падая на скользкой грязи и ломая ноги. Воздух звенел от прерывистого ржания. Неаполитанцы бестолково метались, теряя сапоги и оружие. Через пару минут дождь сменился густыми хлопьями снега, а затем градом с голубиное яйцо. Обезумевшие лошади кричали от боли. Педро, сбросив сапоги, повисал на шеях у встреченных коней и, каких удавалось, привязывал к колесам обозных телег. Бегаючи среди всей этой суматохи и пытаясь спасти хотя бы каких-то лошадей, Педро порой ловил на себе полные мистического ужаса взгляды некоторых сослуживцев. А полковник, командовавший неаполитанским отрядом, уже начинал жалеть о том, что не послушался странноватого штаб-ротмистра и не приказал отвести всех лошадей под укрытие леса.

Буря оказалась хуже, чем даже предполагал Педро, а первоначального приказа так никто и не отменял, и переправа через Вилию все же проводилась. В результате начался уже полный хаос. Ни на мгновение не прекращавшиеся вспышки молний выхватывали из темноты искаженные лица солдат да оскаленные морды лошадей.

Еще с утра безобидная речонка вспенилась, вышла из берегов и понеслась, первыми унося тех, кто рискнул переправляться вплавь. В разверзшееся небо взлетели отчаянные крики тонущих. Спускавшихся на помосты лошадей десятками калечили вырвавшиеся из онемевших рук артиллеристов и сорвавшиеся с глиняного берега пушки. Те же, кому удалось перебраться на другой берег, соскальзывали с крутого склона и тонули, тонули, тонули... В реке крутились разбитые телеги, торбы с провиантом, кивера и трупы, освещаемые призрачным светом сквозь несущиеся заряды снега. Казалось, этому аду не будет конца, и выжившие на другом берегу руками разрывали землю, пытаясь найти себе хотя бы какое-нибудь укрытие. Педро, кое-как собрав свой эскадрон, загнал людей под оставшиеся телеги. Туда же он уложил и измученных, переставших сопротивляться лошадей, приказав всем лечь вперемешку, грея друг друга.

Наутро снег и град кончились, но непрерывный дождь лил еще два дня, сделав всякое передвижение почти невозможным. В результате по окончании этой непогоды из ста сорока человек и пятисот лошадей первого эскадрона осталось соответственно всего сто и пятьдесят, и это было еще лучше, чем во всех других подразделениях. В довершение несчастья у людей, нахлебавшихся грязи, началась дизентерия, а кони сотнями мерли в последующие дни от нечистой воды и холода. Поэтому при первой же возможности штаб-ротмистр Сандоваль отправил Марчелло с каким-то нелепым поручением в распоряжение Португальского легиона.

Генерал Аланхэ вовремя отдал возможные в подобной ситуации распоряжения, и в Кокутишках бурю переждали относительно спокойно. Все три дня д'Алорно потягивал вино, а дон Гарсия читал Плутарха и Тирсо де Молину. Однако глаза графа при этом лишь скользили по строчкам, за которыми неотступно стояло лицо Клаудии. И за это время вынужденного бездействия он вспомнил все свои встречи с ней, все слова и все объятия. Несмотря на двенадцать лет, прошедших с момента их первой встречи в Мадриде, этих мгновений оказалось совсем немного. Что могло вынудить ее ехать – а в этом Аланхэ уже не сомневался – сюда, в глушь и опасность? Любопытство? Поиски новых ощущений, которых требует такая натура, как она, явно гаснущая в эдеме донна Гаспаро? Но Клаудиа была слишком умна. Страсть? Дон Гарсия даже усмехнулся: страсть – чувство не для столь утонченных и возвышенных натур, как герцогиня Сарагосская, страстью, помнится, полыхала Альба, в конце концов, даже эта всеядная королева Мария-Луиза... Любовь, долг? Или нечто иное...

– Ваша светлость. Часовой на западном въезде остановил повозку и гусарского корнета из корпуса Нансути.

– И что из этого? – лениво отложил книгу дон Гарсия. Как только армия перешла границу, всех охватила буквально какая-то шпиономания, хотя никто пока не видел в глаза ни одного вражеского солдата.

– Он утверждает, что... – адъютант явно смутился. – Что он эскортирует вашу... жену.

Аланхэ заставил себя спокойно выйти на крыльцо и потребовал коня. В сопровождении адъютанта он не спеша ехал по раскисшей улице, полуприкрыв тяжелые веки. Зачем, о, зачем?! Впрочем, надо было покориться судьбе.

Однако, подъезжая к забору из переплетенных тонких прутьев, ограждавших здесь всякую русскую деревню, он вдруг резко осадил коня: из дрянной польской фуры прямо в грязь сошел крошечный ребенок и, сделав несколько неуверенных шагов, замер, прижав ручонку к груди и склонив пепельную головку.

Аланхэ спрыгнул, обрызгав себя и адъютанта грязью, и через несколько шагов очутился перед малышом. Но серебряный мальчик вдруг сделал шагок назад, старательно согнулся в придворном поклоне и тихо, но внятно пролепетал:

– Ваше сиятельство! Я счастлив видеть перед собой героя Сарагосы, командира доблестного легиона и моего отца, шестнадцатого маркиза Харандилью.

Дон Гарсия медленно опустился на колени...

После бури снова наступила жара, и ночью, в распахнутые окна изб, побеждая запах пыли, поднимавшейся за день от топота ног тысяч людей, врвался запах цветущих лугов. Бархатное небо висело, казалось, прямо над головами, и из-за ближнего леса, где стояли баварцы, доносилась берущая за душу старая солдатская песня:

*Eine Kugel kam geflogen,  
Gilt es mir, oder gilt es dir...<sup>3</sup>*

– Вы не спрашиваете, зачем я приехала, – вдруг выдохнула Клаудиа, заплетая в тяжелую косу рассыпавшиеся волосы. – Почему?

Аланхэ молча рассматривал сверкавший в лунном свете золотой аксельбант брошенного прямо на стол мундира.

– Вероятно, так велел вам долг, – наконец, неохотно промолвил он. – Но мне будет трудно, очень трудно, гораздо труднее, чем было до сих пор.

– Но почему? Пока все идет отлично, русские отступают даже без боя, к осени император займет столицу, и война закончится.

– И это говорите вы, дева-воительница Сарагосы? «Артиллеристка». И вы приехали сюда, чтобы увидеть триумф Буонапарте?!

– Но вы, дон Гарсия, здесь. И если здесь вы, и вы командуете легионом, то почему отнимаете это право у меня?

И вдруг с холодеющим сердцем Аланхэ понял, что Клаудиа так ничего и не знает о странном условии, ставшем залогом ее счастья и рождения их сына. «Я не вправе обречь ее на неразрешимые муки совести, – мелькнуло у него. – Она должна высоко носить свою гордую голову и передать это дону Хоакину... если, конечно, какой-нибудь негодяй не наплетет ему впоследствии, что я пошел на сделку с совестью».

– Я солдат, ваше сиятельство.

Клаудиа вдруг положила ладонь на его безжизненно лежавшую руку.

---

<sup>3</sup> Вот пуля быстрая летит, Тебе она или мне (нем.)

– Прости меня, Гарсия! Я приехала только потому... потому... – Она прижала лицо к простому полотну его рубашки. – Ты уходишь, ты ускользаешь от меня, Гарсия, ты не во мне пытаешься спастись от холода и равнодушия, снедающих тебя! Там, в замке, среди цветов и роскоши, мне тоже стало казаться, что я перестаю жить, но это иллюзия, обман, мы живем не внешним, и почему ты считаешь, что достойная жизнь в спокойствии и мире хуже наших адских месяцев в Сарагосе?! Чем она хуже? Мы вместе могли бы не только сражаться, но и созидать. Зачем ты заглядываешь в бездну, Гарсия?! – Клаудиа горько разрыдалась. Она не могла и не хотела открывать ему своих гнетущих предчувствий, своего ощущения, что если бы она сейчас не приехала, они никогда уже больше не увиделись бы.

– Тише, ваше сиятельство, – Аланхэ мягко повел плечом в сторону дощатой перегородки, за которой расположился Нардо со служанкой, и таким образом незаметно освободившись от объятий. – У дона Хоакина был сегодня трудный день. – В этих словах Аланхэ о сыне Клаудиа вдруг услышала подлинную нежность, и сердце ее болезненно сжалось. – А завтра нам надо покрыть за день два перехода и добраться до Брацлавского озера. – Слезы продолжали беззвучно течь по щекам Клаудии, и Аланхэ, усмехнувшись, неожиданно добавил. – Если хочешь, завтра я пошлю адъютанта, и он пригласит к нам Педро. Кажется, неаполитанский король стоит где-то неподалеку.

– Я здесь не ради Педро, а ради вас и вашего сына, дон Гарсия, – гордо ответила Клаудиа, но слезы все-таки высохли на ее слегка осунувшемся за дорогу лице.

Аланхэ прикусил губу, словно от сильной боли.

– Простите мне мою возможную холодность, – он встал и отошел к окну. Унылая песня о пуле сменилась еще более душераздирающим напевом о споре между жизнью и смертью:

*So spricht der Tod,  
Die Welt ist mein,  
Ich habe ein grosses Grab gemacht,  
Ich habe die Pest und den Krieg erdacht...<sup>4</sup>*

Дон Гарсия с неожиданной силой захлопнул жалкие ставни. – И не обращайтесь внимания на мои речи. В них виноваты не вы, а мое нынешнее положение. – Клаудиа снова заплакала, ибо теперь в темноте никто уже не мог увидеть ее слез. – Я люблю тебя... Я буду любить тебя... Но я... солдат... солдат.

И Клаудиа поняла эти последние слова так, что ее муж сейчас не принадлежит себе, как не принадлежит любой капрал в полумиллионной войске.

Не зная, как можно унять такую боль, она ошупью нашла его руку и поцеловала.

– Иди ко мне, Гарсия, – еле слышно прошептала она. – Только одна эта ночь, такая короткая июньская ночь...

А над убогой литовской деревней в занимающейся заре звучал победный ответ жизни:

*Так жизнь сказала:  
«Мир этот – мой!  
Хоть из гранита могилы строй,  
Не похоронишь любви святой!»*

Маленький дон Хоакин, казалось, не чувствовал никаких тягот военной жизни, а, наоборот, не по-детски живо интересовался всем, что имело к ней отношение. Сердце дона Гарсии каждый раз радостно сжималось при виде того, как легко и непринужденно чувствует

---

<sup>4</sup> Так Смерть сказала: «Мир этот – мой, Иду с войною я и с чумой, В могилу ляжет весь род людской» (нем.)

себя его малыш среди солдат. Он пытался на переходах идти вместе с пехотой, то и дело сбегая от служанки, которая постоянно искала его, беспокойно носясь вдоль колонн, а солдаты с ухмылками помогали малышу спрятаться в их рядах, ничуть не боясь получить выговор. Катарина, пожилая эльзаска, ругалась, жаловалась Клаудии и даже самому дону Гарсии на то, что солдаты не слушаются ее, и каждый раз стоит большого труда отыскать мальчика в рядах пехоты среди то пыли, то грязи.

В конце концов, Клаудиа отмахнулась от назойливой служанки, требовавшей наказания для солдат, но пресекла походы Нардо в их шеренги. Легион делал в день по двадцать-тридцать лье, и даже молодые новобранцы падали по дороге в глубокие обмороки от усталости, а у ветеранов выступал под мышками кровавый пот. Кроме того, во всей армии свирепствовала дизентерия, поскольку вода повсюду оказалась отвратительной. Единственным положительным моментом оставалось то, что русских так и не было видно, и ожидать скорого боя не приходилось.

К тому же, начинался голод. Разумеется, ни Аланхэ, ни, тем более Клаудиа с ребенком совсем не ощущали его. Дон Гарсия еще со времен Перпиньянского похода умел довольствоваться ничтожно малым, а Клаудиа пользовалась щедро привозимыми ей де Ламбером продуктами. Он умудрялся привозить не только самое необходимое, но и такие немислимые здесь вещи, как свежие сливки или душистое варенье. Откуда они – Клаудиа старалась не задумываться.

Она с Нардо, личико которому завязывали тонким батистовым платком, теперь днями ехала в карете дона Гарсии, и с удивлением смотрела на бесконечные леса и поля. Зрелище не радовало глаз: поля на лье вокруг были безжалостно истоптаны или выкошены, а леса сожжены. В воздухе стоял смрад от сотен павших лошадей и обозных волов, а кое-где начинали появляться и человеческие трупы. Клаудиа видела мужа редко, даже реже, чем в дни сарагосской осады, и молодая женщина начинала казаться себе пойманной и запертой в клетке птиц. Несколько раз приезжавший виконт предлагал ей проехаться верхами, чтобы размять затекшее от долгих часов неподвижного сиденья в карете тело, но она боялась оставить сына. А Нардо чем дальше, тем больше капризничал, плача и просясь к отцу. В редкие минуты свидания где-нибудь в разграбленной деревне, среди драк за провизию и едкого дыма костров, мальчик судорожно прижимался к жесткому мундиру Аланхэ, как во сне, трогал шитье и аксельбанты, проводил ручонкой по запыленному лицу, и не было никакой возможности оторвать его. Каждый раз встреча кончалась долго нестихающими слезами, и Клаудиа уже начинала думать, не стоит ли вообще прекратить эти мучительные для всех свидания.

Разумеется, дон Гарсия прекрасно понимал, что мог *приказать* сыну не плакать, но всякий раз что-то удерживало его, и он сам жадно прижимал к груди его крошечное тельце, едва удерживаясь от слез.

Ближе к Витебску положение Португальского легиона стало совсем нехорошо: задача пайков прекратилась окончательно, и солдаты кормились только фуражировками. Кроме того, началось повальное дезертирство. Сбежавшие, сопротивляясь погоне, поджигали леса, и вокруг стоял непереносимый дым, разъедавший глаза и горло, и маленький дон Хоакин начал постоянно надсадно кашлять.

Как-то раз Аланхэ и д'Алорно, сидя на разбитой телеге, выслушивали донесения полковых командиров, а Клаудиа с Нардо сидели неподалеку в тени покосившейся избы. Мальчик завороченно смотрел на белый султан треуголки дона Гарсии и пытался копировать его энергичные жесты. Стоял тот единственный час перед закатом, когда воздух, холодея, несколько очищался от смрада, и можно было дышать. Солдаты вокруг с наслаждением сосали добытый в погребках лед и равнодушно смотрели на блестящую группу офицеров.

– Солдат, лишенный провианта, неизбежно становится мародером, а мародер – это уже не солдат, – жестко подытожил дон Гарсия и спокойно поставил подпись на очередном приказе о расстреле.

– Что ж, пехота, конечно, грабит, – словно с обидой вздохнул подавший бумагу пожилой пехотный полковник Порталес, – зато кавалерия топчет так, что и грабить нечего. Вон, еще одного ведут голубчика. – И он отвернулся от подходивших к ним двух егерей, которые толкали в спину старого гренадера без кивера.

– Вот, ваша светлость, взяли в поместье аж в пяти лье отсюда... в курятнике, – поспешно доложил егерь, растерявшись от присутствия столь высокого начальства.

– В чем дело? – устало спросил Аланхэ. – Разве вы не знаете приказа по армии и корпусу? Гренадер вскинул на него красивые карие глаза в сетке глубоких морщин.

– Я хотел найти свежих яиц для малыша – разве вы не слышите, как он грохает уже который день? – вдруг спокойно сказал тот. – Вот, возьмите. – И гренадер протянул дону Гарсии кивер, полный золотых крапчатых яиц. – Ведите, что ли, дальше, куда там в таких случаях следует, – сурово закончил он.

Аланхэ растерянно держал в руках побитый кивер. Все молчали. Но тут тишину нарушил звонкий голос Нардо:

– О, папа, пожалуйста! – И ребенок, подбежав к офицерам, в первый раз бросился не к дону Гарсии, а обхватил грязную гамашу солдата. – Ты хороший, ты добрый, да? – залепетал Нардо, заглядывая в темные глаза гренадера снизу вверх. – Папа не будет тебя наказывать, он тоже добрый, он хороший...

Так в жизнь Клаудии и Нардо вошел капрал Гастон Фавр.

Жизнь дона Хоакина решительно изменилась. Теперь вместо того, чтобы трястись в скучной карете, он большую часть времени проводил на плечах Гастона и возвращался к матери только, чтобы спать. Он даже ел у костра, и поглощенный происходящим вокруг, не замечал, как капрал подсовывает ему вместо жесткого риса с сухими овощами манную кашу. За неделю Нардо научился разбирать упряжь, заряжать ружье и по форме отличать португальского стрелка от французского. И старый капрал не выдержал.

– Разрешите обратиться, ваша светлость, – как-то к вечеру рапортовал он, подойдя к Аланхэ, и на всякий случай держа Нардо за руку.

– Говорите, капрал.

– Ваша светлость, сын ваш чрезвычайно смысленный малый. Ему нет еще и трех, а он уже готов разделить с нами все тяготы воинской службы.

– Должно быть, он вам изрядно мешает на марше? – поспешил предупредить возможное недовольство Аланхэ.

– Да что вы, ваша светлость! Ни в коем роде! Солдаты в восторге от его присутствия!

– Спасибо, капрал. – Дон Гарсия не мог удержаться довольной улыбки. Он и в самом деле заметил, что с момента появления в рядах его легиона мальчика отношение простых солдат к командующему резко изменилось.

– Рады стараться, ваше сиятельство! Но дело не в этом.

– А в чем же?

– Мы тут посоветовались и решили обратиться к вам с ходатайством.

– Вы уполномочены на это?

– Так точно, ваша светлость!

– Обращайтесь, капрал.

– Необходимо поставить его на довольствие.

– То есть... – опешил Аланхэ, не ожидавший такого поворота.

– Ну, что он, словно бездомный щенок? Надо назначить его рядовым, простите за дерзость, ваша светлость, и определить в конкретное отделение. Не на время боевых действий, конечно...

– Отличная мысль, капрал. Но в какое именно отделение? В ваше?

– Каждое отделение почтет за честь, ваша светлость!

– И все-таки?

– Я бы предпочел своих гренадеров, но вы, конечно... – Фавр слегка замялся, – вашей светлости, наверное, будут приятнее испанские вольтижеры...

Дон Гарсия вспыхнул.

– Я отдам приказ о зачислении маркиза во второй гренадерский.

Дона Хоакина любили решительно все и потому все чаще старались устроить так, чтобы малыш оказался в самом арьергарде: короткие стычки с русскими происходили все чаще. Новая его нянька Гастон, разрывавшийся между желанием наконец поучаствовать в деле и заботой о своем подопечном, не знал, что и делать. Нардо не отпускал его ни на минуту, словно найдя в этом седом ветеране некую замену отцу. Он готов был проводить с ним все время от восхода до заката, не хныча и беспрекословно слушаясь. Но вот однажды Фавра отозвал в сторону один из солдат и что-то прошептал ему на ухо, указывая за ближайший лес. Лицо гренадера просияло и, оставив солдата присмотреть за малышом, он бросился в указанном направлении. Нардо обиженно надулся, но стерпел и не разревелся.

Через час Фавр вернулся, неся за спиной небольшой мешок.

– Ну, рядовой Харандилья, приготовьтесь. Хорошо командовать умеет тот, кто умеет хорошо подчиняться. Второе вы уже более менее доказали, теперь можно приступить и к первому. И помните мои заветы: не обижать, кормить, строго следить!

Глазенки Нардо загорелись от гордости.

– Рад стараться! – вытянулся он.

Тут Гастон жестом фокусника снял с плеча мешок, развязал веревку и вытащил за шкуру приличного размера коричневого зверька. Зверек шипел и скалился, показывая розовое небо и мелкие зубки.

Нардо ахнул и прижал зверька к груди, а тот, тут же найдя бахрому на курточке мальчика, принялся жадно сосать ее.

– Ишь, голодный! – Фавр разжевал сухой бисквит и выплюнул кашицу на ладонь. – Ешь, дурень.

– Кто это? – все еще не веря своему счастью, спросил Нардо.

– Как кто? – Настоящий медвежонок, вот кто. Их тут много по деревням держат, для продажи. Мать убьют, а кутят потом продают на забаву.

Нардо снова схватил медвежонка.

– У него нет мамы, бедный! Моя мама будет его мамой, да, Гастон? Я назову его Бетунья, ладно?

И с этого дня старый капрал получил возможность участвовать во все учащающихся стычках с русским арьергардом.

## Глава третья. Капитан Стромилов

Русские оказались гораздо лучшими воинами, чем это представлялось поначалу. Несколько жестоких стычек стоили французам немалого количества людей не только убитыми, но и взятыми в плен. А вот русские в плен почему-то практически не попадали, несмотря на все непрекращающееся повсеместное и постоянное отступление их армий.

– Почему у нас до сих пор нет пленных? – начинал французский император ежедневный допрос всех маршалов, которых встречал поутру. – Мы уже не раз вступали с русскими в дело, они даже взяли в плен генерала Сен-Женье и множество солдат, а у нас вообще никаких пленных до сих пор нет. Так мы никогда ничего не узнаем о планах русских и их передвижениях.

И из императорской палатки это возмущение, подобно горной лавине, сходило вниз, повторяясь на разные лады маршалами, генералами, штаб и обер-офицерами, растекаясь возмущенной рекой среди тысяч рядовых каким-то болезненным требованием: пленных, пленных, пленных!

Но вот, наконец, в небольшой стычке под Игуменом в плен попал казак, под которым во время боя была убита лошадь. Оживлению императора не было предела, и он решил допросить казака лично.

Как всегда, сев на стул и вытянув левую ногу на барабан, Наполеон знаком приказал свите отойти подальше, а казаку, с обеих сторон конвоируемому гренадерами Старой гвардии – подойти поближе. Казак был смуглый, темный, словно изжаренный на солнце мужичонка, не больше пяти футов ростом, но с живыми глазами и открытым неглупым лицом. На вид ему можно было дать лет тридцать-тридцать пять. Казак явно был страшно огорчен потерей лошади и до всего остального ему, казалось, не было теперь дела.

– Ах, если бы не пал мой конек, ваша бродь, – с досадой бормотал он, постоянно хитровато оглядываясь по сторонам, – черта с два вы бы меня взяли. Вот вам, фигушки. . .

Наполеон, не понимая этого бормотания, но, почувствовав суть огорчения, неожиданно распорядился выдать пленному коня из императорского резерва.

Казак, получив такой роскошный подарок, поначалу все же дотошно осмотрел его зубы, бабки, копыта и даже не поленился слезать под хвост, но затем сразу ожил, видимо убедившись в действительной ценности подарка. Он так обрадовался, что стал вполне охотно отвечать на вопросы сидевшего перед ним в такой странной позе человека в серой шинели. Свита с любопытством смотрела на представление, ибо было ясно, что никаких особых сведений этот простой мужик сообщить не может.

– Почему вы все время отступаете?

– Да если бы не этот чертов Болтай-да-и-Только, черта с два мы бы отступали. Задали бы мы вам перцу по первое число.

Переводчик посмеивался, передавая императору слова казака. Наполеон тоже ухмыльнулся.

– А если у вас сменится командующий, вы дадите сражение?

– Эх, если бы нами командовал князь Петр аль наш Матвей Иваныч, вы бы у нас не так заплясали.

– Где сейчас ваша армия?

– Наша армия? – удивился казак. – Да повсюду! Где, где! Там одна, тут другая, – вдруг замахал он руками во все стороны. – Да что армия, я вам вот что скажу. Если бы все войско наше состояло из одних только казаков, вы бы давно уже бежали, задрав штаны к своему Парижу.

– Вы так думаете?

– Да что там думать! Уж можете мне поверить. Если бы этот ваш Наполеон имел вместо своих солдат казаков, то он давно бы уже стал китайским императором!

Наполеон довольно рассмеялся. А потом, хитро глянув на мужичка, словно заразившись его манерой, спросил:

– А что, разве французы плохо воюют?

– Хранцузы дерутся хорошо, – прямо отрезал мужичок, – пограбить любят, порыскать по домам, да только уж больно неосторожны. Мы ваших этих хранцузов кажинный день толпами ловим. Да и вообще, не будь казаков, хранцузы давно бы уже в Москве были. Куда там, в Петербурге! Один только нам у вас неаполитанский король нравится. Он всегда как-нибудь так необычно одет, что его за версту видно, а уж как отважен, сам черт не брат! Мы с казаками даже порешили во время боя не стрелять в ту сторону, где он.

– Ого! – засмеялись все присутствующие, пожалев, что короля Неаполитанского, как всегда, черти носят где-то по линиям русских арьергардов.

– Когда мы вступаем в русские деревни и небольшие города, там все сожжено. Почему? – продолжал между тем интересоваться Наполеон.

– А чего ж вы хотели, ваша бродь? – искренне удивился казак. – И сейчас впереди все сожжено. Два моста, особливо овины с овсом и прочие разные склады. Все у нас не абы как, а все по приказу начальства. Ведь мы, казаки, что...

Но Наполеон, поняв, что ничего кроме восхваления казаков, от пленного больше не добьется, не стал слушать пленного дальше и велел отпустить его. Затем, не обсудив итоги допроса ни с Бертье, ни с Жюно, уехал осматривать аванпосты.

После этого вслед тому шустрому мужичку все стали, посмеиваясь, называть Мюрата «настоящим казаком». Однако о самих же казаках говорили с ощущением холодка между лопатками. Из уст в уста передавалось, что всех своих пленных они обирают до нитки и убивают без всякого сожаления.

Однако подобные новости долетали до рядовых частей армии, которых кампания касалась пока только болезнями, голодом и прочими неудобствами похода, лишь отдаленными сплетнями. Впрочем, даже сплетни эти мало беспокоили командиров, поскольку каждый день возникали тысячи более насущных, требующих немедленного решения проблем. Наряду с потерявшим всякое управление мародерством все более и более развивалось дезертирство.

Аланхэ давно уже не имел крыши над головой – в самом прямом смысле. Все более или менее сносные строения от Немана до Днепра были сожжены или просто разрушены, и он с удивлением вспоминал ту первую и последнюю избу в Кокутишках, где они провели с Клаудией ночь. Теперь она с доном Хоакином ночевала в лазаретном фургоне, а сам он предпочитал охапку сена под деревом. Впрочем, сено все чаще заменялось лапником.

Долгие быстрые переходы выматывали своей бесполезностью. Казалось, все они догоняют какой-то призрак, который обнаруживает себя лишь странно холодными утрами в низинах в виде сизого наводящего озноб тумана. И в этой погоне силы их таяли сами собой, столь же прозрачно, сколь и безрезультатно.

Поводя плечами от утренней сырости, снова сулившей невыносимую жару днем, дон Гарсия устало слушал соображения д'Алорно. Начштаба долго говорил о необходимости потопить походный госпиталь, застрявший далеко в Волковыске, обустроить пекарни, наладить забой отощавших волов, и о всяких прочих делах, мало имевших отношения к той войне, к которой привык граф за четверть века.

– У вас все?

– В принципе, да, граф, – пунктуальный эльзасец уже потянулся за трубкой, как вдруг хлопнул себя по лбу. – Ах, да, есть еще кое-что. Из пикетов сегодня принесли вот такую вот

мерзость, – и он протянул Аланхэ косо обрезанную желтоватую бумагу с прыгающими буквами. – Полюбуйтесь.

Аланхэ, несмотря на перчатки, брезгливо взял бумагу и, морщась от омерзения, прочел текст на испанском языке:

*«Испанские солдаты! Вас заставляют сражаться с нами, заставляют думать, что русские не отдадут должной справедливости вашему мужеству... Вы слишком хорошо знаете русских, чтобы предположить, что они бегут от вас. Они примут сражение, и ваше отступление будет трудно. Как добрые товарищи советуем вам возвратиться к себе. Император играет травлю своих храбрых солдат. Возвращайтесь!!!»*

Кровь бросилась в лицо дон Гарсии.

– Ракальи! Прикажите сдать все найденное.

– Думаю, этого не потребуется. Честные солдаты сами приносят это командирам рот, а те, кто уходят, уходят и без прокламаций. Кстати, наши с вами соотечественники отличились и в этом. – Аланхэ быстро поднял глаза, и д'Алорно на секунду стало не по себе от их призрачного взгляда, напомнившего ему проклятый туман. – Как, разве вы еще не слышали? Сто тридцать три молодца из обоих испанских батальонов полка короля Жозефа бежали прямо с похода. Поначалу отстреливались, как одержимые, затем, дабы отрезать преследование, подожгли лес... – Туман вдруг пропал из глаз графа, сменившись горячечным блеском, и он до порозовевших ногтей стиснул золотую канитель аксельбанта. – Дело, разумеется, дошло до князя Экмюльского<sup>5</sup>, взяли их только на третий день.

– Где взяли? – пересохшими губами потребовал Аланхэ.

– Спящими в каком-то поселении лье в пятнадцати от дороги. Поляки провели. Эти ракальи устроили там прямо-таки крепость, но, к счастью, перепились русской водки... Словом, черные билеты<sup>6</sup> вытащили шестьдесят два человека.

– Надеюсь, они умерли с честью? – каким-то странно глухим голосом вдруг поинтересовался дон Гарсия.

– Ну, если у дезертиров она еще осталась... – горько усмехнулся д'Алорно.

В этот момент они оба почему-то посмотрели на Хуана Порталеса, неподалеку отчитывавшего какого-то майора.

– Этот полковник прямо-таки ненавидит вас, граф, – вдруг тихо сказал д'Алорно.

– Я знаю, генерал. Я перешел ему дорогу. Его возраст, его звание давали ему полное право на пост командующего Португальским легионом, и тут некстати появился я...

– И теперь он делает вид, что ненавидит вас за измену своему отечеству, – задумчиво закончил д'Алорно. – Извините, граф. Я далек от таких мыслей, – поспешно закончил он и оставил дон Гарсию одного.

После ухода генерала Аланхэ долго мерил шагами скользкую от опавшей хвои землю под мощной сосной, глядя, как туман розовеет, словно окрашиваясь кровью. «За измену своему отечеству», – звучали у него в ушах последние слова начальника штаба, сказанные с любовью к герцогу и с полным пониманием двусмысленности его положения. Сам д'Алорно был явно иного мнения. Но кто знает, как относятся к нему все эти находящиеся под его командованием испанцы. Быть может, именно поэтому среди них так много дезертиров? Как знать, а вдруг среди позорно расстрелянных сейчас были те, кто плечо к плечу бился с ним на редутах и в воротах Сарагосы или счастливо избежал копыт конницы Мюрата в Мадриде? Сколько их под угрозой расстрела загнано в эти ряды? И вот теперь они ложатся под позорными пулями с

---

<sup>5</sup> Имеется в виду маршал Даву.

<sup>6</sup> Во французской армии расстрел групп дезертиров осуществлялся не поголовно и не децимацией, а путем вынимания из ящика белых и черных билетов; черные означали расстрел.

именем дезертиров? Как может осуждать их он? И не более ли честен их поступок, чем его? И разве можно сравнивать их с французскими дезертирами? О, честь – самый сладкий и мучительный дар небес...

Страхнув с себя морок и усевшись под темными ветками русской ели, дон Гарсия быстро набросал проект ответной прокламации:

*«Русские солдаты! Мы удивляемся, как вы могли хотя бы на минуту подумать, что нас можно соблазнить таким низким способом, ибо мы всегда слушались лишь голоса чести. Мы потеряли к вам прежнее уважение, которое даже в разгар войны храбрый солдат сохраняет к своему противнику. Подобная провокация оскорбляет не только тех, кому отправлена, но и тех, кто ее отправляет. – Затем, задумавшись на секунду, размашисто подписал. – Испанский солдат».*

В конце июля легион вышел к Днепру – этому Борисфену древних – и остановился в ожидании последующих приказов. Виконт де Ламбер, чей корпус тоже еще не бывал в деле, грохотавшем где-то выше по течению, пригласил Клаудию проехать по берегу столь знаменитой реки.

Отлогий берег зарос ивняком, из которого то и дело выпархивали дикие утки, потревоженные далекой канонадой. Небо, хотя и без единого облачка, было серым и низким. Словом, вся окружающая природа наводила какую-то беспросветную тоску, создавая ощущение бесплодности любых человеческих усилий на этом свете.

– Совсем, как Испания, – вдруг проговорил виконт. – Издали кажется, будто здесь таится что-то особенное, а вблизи – совсем ничего интересного.

– А вы были в Испании? – тихо спросила Клаудиа, бросив любопытный взгляд на своего спутника.

– О, да, ребенком! Отец взял меня туда пять лет назад, но поскольку мне было только четырнадцать, довез лишь до Эбро.

– А дальше – не рискнул? – каким-то странным сдавленным голосом закончила Клаудиа.

– Да, ведь тогда уже повсюду начинались эти... хунты. – И только при этих словах Ламбер вдруг вспомнил, что муж этой женщины командует Португальским легионом. Неужели она португалка? Но, слава Богу, о Португалии он ничего плохого не сказал. Однако на всякий случай виконт сменил тему, тем более что она была ему совсем неинтересна. Ехать рядом с прелестной, обворожительной, полной какой-то тайны женщиной – и говорить о войне?! Фи! И юноша подал лошадь поближе к лошади Клаудии, стараясь, словно случайно, коленом, затянутым в синюю гусарскую рейтузу, коснуться ее ноги.

– Однако, какие здесь просторы! Так русские смогут уходить от нас еще год, – опять невольно свернул он на военную тему, хотя собирался поговорить об уединении. – Можно даже спешиться и подойти поближе к воде... – попытался все же поправиться он.

Клаудиа усмехнулась его наивности и уже потянула поводья, как вдруг за ивняком раздался плеск вперемешку с горловым женским смехом, и в просветах мелькнули обнаженные тела. Ламбер, как мальчик, густо покраснел всем лицом.

– Я совсем не для этого... – пролепетал он и смешался окончательно.

Клаудиа рассмеялась.

– Вы первый раз в походе?

– Нет... то есть да...

– Это не самое неприятное в кампании, это, в конце концов, просто жизнь. Но вот не дай Бог... – Клаудиа запнулась и не договорила. Пусть лучше этот мальчик не только никогда не увидит, но и не будет знать о том, как вечерами после кровавого боя жалостливые, а то и просто похотливые маркитантки идут по усеянному телами полю, наскоро удовлетворяя последние желания умирающих и калек, а то и просто ложатся с трупами.

Смех тем временем перешел в счастливый визг, а потом в стон.

– Поедемте, – заторопился де Ламбер, и они повернули коней. Но, отъехав туазов<sup>7</sup> тридцать, Клаудиа вдруг снова натянула поводья: впереди, не привязанные и без удил, но под седлами, мирно паслись две лошади, одна побольше, другая – поменьше.

У виконта захолонуло сердце.

– Казаки?! – прошептал он.

Но Клаудиа, не обращая внимания на его шепот, подъехала к лошадям и спрыгнула на землю. Потом, к удивлению де Ламбера, внимательно оглядела ту, что повыше, и вдруг крепко прижалась к ее шее, что-то шепча. Горбоносая кобыла в белых чулках радостно и благодарно заржала в ответ.

– Вы плачете? – испугался юноша, только через лье решивший поднять глаза на свою королеву.

– Что вы, я просто счастлива, – вздохнула в ответ раскрасневшаяся Клаудиа и пустила своего коня в полный галоп.

Она скакала по бескрайним русским просторам, наполняя их громким счастливым смехом. А ее прекрасные пепельные волосы, выбившись из-под кивера, развевались на ветру, превращая ее в нимфу полей, над которыми понеслась веселая испанская песня.

*Так смени же гнев на милость!  
все уладится легко –  
От проклятий до объятий,  
Видит Бог, недалеко!*

Бедный виконт едва поспевал за своей королевой. Конь его был уже весь в мыле, а юноша, пригнувшись к его шее и умоляя не отставать, не знал, то ли смеяться, то ли хранить серьезность из-за непонимания столь неожиданного приступа веселья своей прелестной загадочной спутницы.

Вдруг до его ушей, перекрывая и смех, и песню, донесся какой-то странный свист. Виконт глянул влево и с ужасом обнаружил, что к их одинокой скачке присоединилось еще несколько всадников в каких-то странных шапках с хвостами. Они азартно скакали наперерез, залиристо свистя и щелкая в воздухе нагайками. «Казаки!» – на этот раз уже более не сомневаясь, в ужасе подумал виконт.

– Правее, берите правее! – отчаянно закричал он, безжалостно сжимая бока коню шенкелями и стараясь пустить его между своей королевой и преследователями, сам еще не понимая толком, что теперь делать и как себя вести.

Клаудиа мгновенно поняла, что произошло, и, пригнувшись, поддала в направлении своих позиций. Теперь казаки гнались за ними вслед, и виконт оказался прямо между ними и Клаудией. Немилосердно шпоря коня, юноша одновременно пытался правой рукой достать из седельной кобуры пистолет, мысленно благодаря себя за то, что на всякий случай держал его заряженным. Однако он боялся не то, что стрелять, но даже повернуть назад голову, надеясь на Бога, черта, кого угодно, лишь бы дело не дошло до кровопролития.

Некоторое время он слышал лишь шмелиный зуд нагаек, топот коней да свое судорожное дыхание. Затем что-то шлепнуло его сверху, и подбородный ремешок из чешуйчатых медных бляшек едва не оторвал виконту голову, резко дернув ее назад. Юноша не сразу понял, что ему повезло, и лассо догонявшего его казака всего лишь оставило его без головного убора. Виконт рискнул обернуться и увидел как тот, приостановившись, освободил лассо и приторочил кивер к седлу, а затем снова бросился догонять уходящую добычу.

---

<sup>7</sup> Туаз – французская мера длины, около двух метров.

Клаудиа по-прежнему скакала впереди, и Ламбер решился еще раз оглянуться, чтобы проверить, не собирается ли какой-нибудь дикарь набросить лассо и на нее – при этом рука его, державшая рукоять пистолета, уже почти не дрожала. Но не успел он выхватить оружие, как представившееся ему зрелище почти окончательно парализовало юношу.

Прямо перед мордами нависавших казачьих коней вдруг пронесся вихрь, закруживший преследователей и овеявший их целым облаком пыли. Кони казаков страшно заржали, поднимаясь на дыбы, а некоторые и вовсе опрокинулись, придавив всадников. В воздухе замелькали лошадиные ноги, и загремела, очевидно, проклятьями чужая речь, впрочем, вскоре сменившаяся откровенным хохотом.

Виконт взглянул вслед пролетевшей стреле и различил одинокого всадника, который уже начинал сдерживать своего коня, явно стараясь направить его параллельно ходу убежавших. Казаки, кое-как успокоив лошадей, сделали вслед ускользнувшему всадникам несколько выстрелов, вероятно, уже просто для проформы, затем развернулись и на рысях отправились в обратную сторону. Они находились уже гораздо дальше от беглецов, чем те от своих позиций.

Ламбер стал постепенно сбавлять ход коня. Он был не в силах не только крикнуть что-нибудь скакавшей впереди Клаудии, но даже разлепить губ, склеенных кровью, текшей из разорванной медным ремнем ноздри. Мелкая противная дрожь колотила корнета, а по спине медленно сползала липкая и холодная струйка пота.

«Только бы унять дрожь, только бы унять эту проклятую дрожь до того как мы остановимся и окажемся рядом», – почти со слезами на глазах думал он, все больше натягивая удила и отдаляясь от Клаудии. Они оба скакали уже между передовыми пикетами легиона, а слева, но не к нему, а к ней на той самой лошади, после встречи с которой эта странная женщина вдруг так необычайно оживилась, приближался всадник... Виконт лихорадочно протер глаза, не веря им: всадник был абсолютно безоружен и гол! только черные, длинные, как у Мюрата, кудри стелились за ним в раскаленном полуднем воздухе. Онемевший Ламбер не знал, что предпринять, но в последний момент, когда до Клаудии оставалось туазов двадцать, этот странный всадник взмахнул рукой, что-то крикнул и, развернувшись, скрылся в пыли, словно и был только ее порождением.

«Неужели сам неаполитанский король спас нас от этих дьяволов?» – с легким ужасом пронеслась в голове виконта странная мысль.

Над Днепром стлался душный пороховой дым, не дававший не только дышать, но и видеть противоположный берег. За спиной третьего испанского полка полыхал русский город Смоленск. Еще утром они прошли его быстрым маршем, задыхаясь от запаха горелого человеческого мяса: это горели подожженные артиллерией дома с оставленными в них русскими ранеными. Впереди уже виднелось Петербургское предместье, открывавшее дорогу дальше, но полк неожиданно был остановлен прицельным огнем с того берега. Несколько точных выстрелов выбили трех офицеров, и переправа сбилась. Это минутное замешательство стоило испанцам очереди на понтоны, и теперь им не оставалось ничего иного, как пропускать потоком идущие войска и на время рассредоточиться, чтобы не терять людей еще больше.

Русскую часть попытались уничтожить, но, словно по какому-то колдовству к обеду выстрелы с русской стороны только удвоились. Вероятно, к роте подошло подкрепление. В бешенстве командир полка Дорейи приказал остановиться первой попавшейся ему на глаза конной батарее и распахать противоположный берег, грозя трибуналом, расстрелом и самим императором.

Пушки сделали несколько выстрелов, но люди среди французских рядов все продолжали падать. Дорейи в бешенстве размахивал шпагой и с гасконским упрямством заявил, что не сдвинется с места, пока чертовы дикари на той стороне не угомонятся навеки. В дело вступила еще одна батарея. Однако выстрелы со стороны русских все не прекращались. И только

к вечеру, потеряв никак не меньше сотни человек, среди которых были едва ли не половина офицеры, полк, наконец, смог добраться до Петербургского предместья. Наползали сумерки.

– Отправьте на то место человек десять да поосторожней, – распорядился Дорейи, несмотря на хлопоты ночлега и перспективу нового боя наутро. Обида и ненависть так и жгли его.

Посланные вскоре вернулись в полном составе. Однако, несмотря на притащенного в плаще пленного, выглядели весьма смущенно.

– Ну, что там? – нетерпеливо спросил полковник в предвкушении сильных впечатлений.

– Ничего, – мрачно ответил сержант и грязно выругался.

– То есть как... ничего? – вспыхнул Дорейи. – Вы хотите сказать, что наша артиллерия не оставила от них даже ошметков?

– Merde! – еще мрачнее выругался сержант. – Там был всего один егерь, – сказал он затем, после чего, пнув легонько носком сапога почти безжизненное тело в плаще, добавил – да этот штабной.

– Вы лжете, сержант! – сорвался на крик Дорейи.

– Как же, лгу! Там разворочено так, что деревца целого не осталось, одни воронки. Скошено все, как косой, и среди всей этой красоты валяется лишь один изрешеченный картечью егерь со штуцером, аж приклад в щепки... Ни документов, ни бумаг... Да еще этого нашли за лошадью и то только потому, что застонал не вовремя. – Сержант зло сплюнул. – Так что всем нам за них двоих полагается по десятку наполеонов<sup>8</sup>, не меньше.

Дорейи приказал брызнуть русскому в лицо водой и прислонить к березе.

– Ваше звание, часть?

– Звание мое вы, надеюсь, видите по мундиру, – на безукоризненном французском с трудом переведя дыхание, ответил офицер, – а часть... Зачем вам часть, мы все просто русские.

И Дорейи, чтобы в озлоблении не наделать бед, отправил русского капитана к командующему легионом.

Аланхэ с жадностью всматривался в пленного, словно еще до слов пытался узнать по виду этого синеглазого окровавленного капитана нечто, неотступно тревожащее его все эти последние три года. Русский выдержал его взгляд спокойно, но не равнодушно.

– Почему вы смотрите на меня так, генерал? – пытаюсь улыбнуться, первым нарушил молчание он. – Я не похож на дикаря и сармата? Чутье не обмануло вас: я русский дворянин и учился, между прочим, в пансионе Хикса в Париже.

– Это вас подвело чутье, капитан, – неожиданно отпарировал дон Гарсия. – Я не француз, я – андалусец.

Капитан порывисто подался вперед, но то ли боль от раны, то ли еще что-то заставило его вновь рухнуть на свое ложе.

– В таком случае я с удовольствием пожал бы вам руку, если бы... если бы не ваш мундир... здесь, на берегах русской реки. Это лишает меня такой возможности, – открыв после некоторого молчания глаза, почти прошептал русский, после чего отвернулся и закончил. – Я избавлю и вас, и себя от унительности допроса. Я капитан Тарнопольского полка двадцать седьмой пехотной дивизии, служил адъютантом у ее командующего генерала Неверовского, был послан с приказом отступать к закрепившейся на берегу части и... нарушил его дважды – не передав приказ и не вернувшись в квартиру, за что, видимо, и наказан. Имя же мое вам знать необязательно.

– Мы поступаем с пленными согласно правилам и можем обменять вас.

– На кого? На генерала? Не смешите. Война – рулетка, и мне не повезло.

---

<sup>8</sup> Во французской армии за храбрость, проявленную в боях, награждали не только знаками отличия и повышениями, но деньгами – наполеондорами.

– Хорошо, оставим это. Но позвольте задать вам один-единственный вопрос: почему вы воюете так странно, всеми способами уклоняясь от решительного сражения?

– Неужели вы еще не навоевались на родине? – усмехнулся русский. Это прозвучало почти оскорблением, но дон Гарсия подавил в себе вспышку гнева, только глубоко вздохнул и прикрыл тяжелые веки. – Хорошо, я отвечу вам. Вы думаете, мы воюем? Ошибаетесь, генерал: воевать против вас будут жара, дурная вода, голод и мороз. Как вы могли заметить, кампания эта только начинается. Впрочем... Теперь могу открыть вам одну тайну: мы собирались дать вам сражение еще под Витебском, но двадцать седьмого было получено письмо от князя Петра, где он сообщал, что сможет присоединиться к главным силам только в Смоленске. А Смоленск мы уже оставили и... – Тут раненый, вдруг приподнявшись, хотел еще что-то сказать, но побледнел и лишился чувств.

Дон Гарсия немедленно потребовал легионного хирурга.

Все три дня, пока войска брали город, Клаудиа с Нардо и Гастоном, явившимся от неучастия в деле, а также солдатом-возницей провели на берегу речки, извивающейся, подобно змее, и имевшей столь же шипящее как и это пресмыкающееся название Сошь. Малыш был в полном восторге, купался на руках у Гастона, купал Бетунью, выросшего за месяц едва ли не вдвое, и Клаудиа на минуты забывалась, глядя на счастье сына. Однако непрекращавшаяся канонада то и дело выводила ее из этого блаженного состояния и снова тисками сдавливала сердце и голову. Наутро четвертого дня, не получив никакой вести от мужа, она оставила Нардо на попечении гренадера, и верхом уехала с солдатом к Смоленску.

Еще издали было видно, что город весь в огне. Никакие расспросы не давали результата; кто-то говорил, что испанцы шли первыми и все полегли, кто-то – наоборот, что они в деле не участвовали и стоят на западной окраине. Закутав головы от жара и пепла, они еле-еле пробирались по улицам, пытаясь не наступать на тела. Но если это еще кое-как удавалось в отношении убитых, то сгоревшие останки скрипели под копытами так, что Клаудиа то и дело вынуждена была затыкать уши. Вот только закрыть глаза было нельзя, и она широко раскрытыми, остановившимися от ужаса глазами видела то телегу, везшую одни только оторванные члены, которые собирались похоронить отдельно от их тел, то раненых в импровизированных лазаретах, где простыни заменялись какими-то русскими документами, корпия – берестой и паклей, а пергамент – лубками. На улицах стоял свист ветра и вой людей. Неожиданно среди крови и пепелищ сверкнула круглая золотая крыша с крестом, и Клаудиа почти бессознательно направила лошадь туда.

Вокруг догорали деревянные дома, а на каменных плитах перед храмом сидело, стояло и лежало несколько десятков человек с искаженными страхом лицами. Дети плакали, остальные истово молились, и при каждом появлении рядом французского солдата падали ниц, простирая руки, кто вперед, кто к небу.

Неожиданно на углу появился человек в темных длинных одеждах с крестом на груди, а за ним несколько солдат с мешками. Толпа на плитах взвыла от ужаса и возмущения и, дав друг друга, рванулась к закрытым дверям храма, выломала их и устремила в дальний конец, где мерцали свечи. Священник с длинными седыми волосами тоже побежал внутрь и там стал что-то горячо и ласково говорить, поднимая и ободряя людей. Солдаты равнодушно стояли у входа.

Повинуясь какому-то еще непонятному ей стремлению, Клаудиа слезла с лошади и осторожно зашла внутрь храма. Со всех сторон на нее смотрели темные бородатые лица старых русских святых, тускло горело золото и серебро обрамлений, посуды и тканей, и во всем помещении была разлита какая-то тихая покорность судьбе и умиротворенность. Снаружи грохнула пушка, раздались крики, и в тот же миг на Клаудию посмотрели огромные, ясные, печальные глаза Божьей матери, слишком напомнившие ей глаза дон Гарсии.

– Пресвятая дева дель Пилар, сохрани его, – прошептала она, опускаясь на колени, и перед ее взором, как наяву, вспыхнуло видение иной церкви: суровые голые стены, а в глубине, вся в алмазах и рубинах, статуя девы. Вокруг опять слышен рокот канонады, бушует пламя и раздаются стоны... И она снова в храме, но храм этот чужой, рядом нет ни дона Гарсии, ни отца, ни брата, только все также ревет за стенами война и гибнут люди. Клаудиа благоговейно поднесла к губам свое чугунное обручальное кольцо.

В это время в толпе снова началось какое-то волнение, люди все теснее сбивались в кучу у алтаря, солдаты растерянно и зло пытались выгнать их прикладами, а старик-священник метался, не зная, что делать.

– Неужели вы собираетесь расстрелять этих несчастных? – обратилась Клаудиа к капралу.

– Да зачем нам они? – удивился тот. – Полковник приказал раздать им еду из наших запасов, в этом проклятом городе жрать, как всегда, нечего.

И Клаудиа решила.

– Успокойтесь, – стараясь говорить по-русски певуче и плавно, как ей советовал учитель, но в то же время четко выговаривая слова, обратилась она к священнику. – Вам не сделают ничего плохого. Солдаты хотят раздать вам еду, ведь эти несчастные голодны, не так ли?

Старичок поглядел на нее полубезумным взглядом.

– Какую еду? О чем вы, барышня?

Клаудиа растерялась. Может быть, она сказала что-то неправильно?

– Еду, военные пайки, бисквит, рис, овощи, ляд, кажется...

– До еды ли сейчас, когда погибает Россия?! – вскрикнул священник и, сорвав с груди крест, поднял его над толпой. – Мужайтесь, православные, и примем крест свой, как принял его Спаситель наш! – Толпа снова упала ниц, а старик, пробормотав еще какие-то слова, неожиданно повернулся к Клаудии. – А ты... ты беги за своими друзьями, французская подстилка, и не стыдно тебе позорить честь русской женщины!

У Клаудии даже перехватило дыхание. Священник принял ее за русскую! Герцогиня совсем не обиделась, она ликовала, хотя и слишком горьки были слова старика... Но его можно было понять, будь на его месте старый отец Басиль, он вполне мог бы сказать в подобной ситуации то же самое, заменив лишь одно слово: «русской» на «испанской»?!

Она медленно вышла на улицу и, к своему удивлению, увидела, что около мешка с пайками уже вовсю хозяйничает какая-то бойкая маркитантка в обгоревшей юбке.

– Каррахас! Тупицы безмозглые, с волами вам только обращаться! – весело ругалась она, вертя из исписанных бумаг кулечки и накладывая туда еду, все вперемешку. – Кто же так делает, еду на байонетах предлагает! Эх, вы, габачо!

Ее откровенный мадридский акцент перекрывал завывания ветра в торчащих печных трубах.

– Я помогу вам, – Клаудиа решительно подошла к маркитантке и почти по-мужски пожала ей руку. Но та вдруг выронила из рук все кульки.

– Санта Мария! Мадмуазель де Салиньи! – прошептала она.

Теперь отшатнулась Клаудиа. Она всматривалась в это смуглое, задорное, настоящее кастильское личико – нет, она никогда не видела его...

Заметив ее замешательство, маркитантка рассмеялась. – О, вы, конечно, меня не знаете, но кто в Мадриде не знал маленькую любовницу красавчика Мануэля?! – Румянец невольно окрасил бледные щеки Клаудии, и она твердо сказала:

– Я – графиня де Аланхэ, герцогиня Сарагосская.

– Так вы вышли замуж за героя осады? – присвистнула маркитантка. – И слава Богу! Слава Богу! Надеюсь, вы живете гораздо счастливее, чем тот красавчик с сеньорой Хосефой, которой по-прежнему приходится делить его со старухой и с этой малохольной Чинчон. Правда, старуха совсем потеряла былой гонор и привязалась к сеньоре, как дитя. Так и мота-

ются все четвером из Байонны в Компьень, из Компьеня в Ниццу, из Ниццы... – Маркитантка трещала без умолку, но Клаудиа, слыша знакомые имена, которые причиняли ей некогда и радость, и боль, теперь оставалась к ним безучастной – до того все это показалось ей вдруг чужой, далекой, прошлой жизнью, жизнью, закончившейся одним весенним днем в Аранхуэсе, когда не стало ни Женевьевы, ни Князя мира, ни короля, ни былой Испании. – А когда у сеньоры умер младенец, старуха исплакалась и даже сказала, что ей нет утешенья и нет слов выразить свою скорбь! Вот до чего дело дошло! – звонко рассмеялась девушка. – И мне, честно говоря, надоело все это и я сбежала из Ментоны прямо в Париж, а потом все дальше и дальше... И вот я тут и ничуть не жалею, и ничего мне больше не надо! Эй, мосьюры, пошевеливайтесь, да поживее! – Девушка снова взялась за работу, и вместе они быстро разложили еду по кулямкам. Потом маркитантка положила их в подол, подошла прямо к толпе и, ласково приговаривая, стала раздавать еду сначала детям, потом женщинам и под конец немного пришедшим в себя мужчинам. Священник осенил крестом ее черную растрепанную голову. – Вот как надо, бычки! – И чуть раскачивающейся неповторимой походкой мадридской субретки она двинулась прямо в дым на далекие выстрелы.

– Пойдите! – вдруг бросилась за ней Клаудиа. – Может быть, вы знаете, где стоит Португальский легион?

– Апельсинчики? Там, на той стороне, налево. И дай вам Бог счастья, мадам.

Клаудиа нашла дону Гарсию уже только к утру. Генерал спал на полу в избе без крыши. Рядом храпел д'Алорно, а в углу, на попоне, лежал какой-то раненый и в беспокойном сне все метался и все бормотал что-то невнятное. Клаудиа замерла на пороге: слова были русскими. Она тихо опустилась на колени рядом с мужем и прильнула губами к высокому белому лбу.

– Хелечо... – еле слышно пробормотал он, но в следующую секунду уже сидел прямой, как струна, далекий и суровый. – Почему вы здесь? Что-нибудь с доном Хоакином?

– Нет, они с Фавром на реке, все спокойно, но я приехала не для того, чтобы проводить время в лесу, забавляясь с медвежонком – я хочу быть рядом с тобой и буду. Как тогда...

– Вы забываетесь, герцогиня, здесь не Сарагоса! Ваша обязанность – сын, – отрезал Аланхэ.

– То, что соединил Господь – неразделимо, – твердо ответила Клаудиа. – Я не прошу аванпосты и не участвую в сражениях, но находиться рядом с тобой в минуты отдыха – мое полное право. Пошли за Нардо, и больше не будем об этом. – Она подняла голову: но по небу, освещенному пожаром на том берегу было невозможно понять, скоро ли рассвет. – У нас еще есть немного времени?

– Думаю, полчаса.

– Знаешь, я попала сегодня – или уже вчера? – в русскую церковь, и на миг мне показалось, что я снова там, в соборе, на берегу Эбро...

– Какое совпадение! – усмехнулся дон Гарсия. – А я вчера допрашивал русского пленного, и на мгновение тоже ощутил себя где-то у дель Партильо – удивительное мужество и вера в судьбу. Знаешь... – он слегка нахмурил свои атласные брови, словно не решаясь договорить до конца, но все же с усилием продолжил. – Мне все чаще кажется, что император найдет здесь новую Испанию, но Испанию без полей, без виноградников, без городов. Он не найдет здесь, конечно, Сарагосы, поскольку большинство городов здесь деревянные и будут просто сожжены, но армию ожидают не менее ужасные препятствия, только в другом, может быть, еще более чудовищном роде...

Клаудиа оглянулась и прислушалась.

– Уходи, черт побери, уходи... О, Господи... пакет... а кувшинка, кувшинка на реке, вода зеленая, холодная... Пить!

– Интересно, о чем он?

– Он просит пить, – спокойно ответила Клаудиа и поднялась, чтобы поднести к губам раненого железную кружку со ржавой водой. – У дона Гаспаро я учила не только латынь и греческий, но и русский. Особенно в последнее время.

– Ты говоришь по-русски свободно? – ничуть не удивившись, уточнил дон Гарсия.

– К сожалению, пока еще не совсем. Он дворянин?

– Разумеется.

– Тогда... Отдай его мне, Гарсия! Я стану ухаживать за ним и заодно, наконец-то, попрактикуюсь в русском.

Лицо Аланхэ стало каменным.

– Это невозможно. Человек – не игрушка. Он, как и любой пленный, должен быть отправлен по команде во Францию. К тому же, достаточно разговоров о тебе и доне Хоакине, чтобы прибавлять к ним еще и русского. Да и, прости меня, я думаю, что он не согласится и сам.

Клаудиа молча смотрела на мечущегося в горячке русского и пыталась придумать что-нибудь, найти какой-нибудь веский аргумент в пользу своего желания, как вдруг рожок пропел «En avant», возвещая начало сражения при Лубине, и раненый неожиданно сам собой остался на полном попечении Клаудии.

Через пару дней он уже лежал в походной карете Клаудии, двигавшейся по выжженным дорогам вслед за вновь догоняющей врага французской армией. Нет, Смоленск и в самом деле не стал второй Сарагосой; русские очень быстро сдали и этот свой священный город.

Первое время русский угрюмо молчал, улыбаясь лишь при виде маленького Нардо и медвежонка. Но Клаудиа, прошедшая школу сарагосского госпиталя, знала, к каким тяжелым последствиям может привести даже менее тяжелая рана, если человек находится в подавленном состоянии духа. И молодая женщина со всем присущим ей очарованием пыталась всячески оживить раненого, даже имени которого до сих пор не знала. Обращаясь к нему лишь по званию «господин капитан», она кормила его с ложки, меняла повязки, сделанные из своих нижних юбок и рубашек Нардо и промывала рану отварами из собранных по ее поручению Гастоном трав: в монастыре королевских салесок учили раз и навсегда.

Порой, когда раненый забывался в коротком сне, она смотрела на его прекрасное чужое лицо под шапкой русских волос и думала почему-то не о муже, а о Педро. Почему он не найдет ее, почему бы им вдвоем не сесть как-нибудь у костра и не проговорить всю ночь о заросших дреком склонах Мурнеты, о горных тропах Уржеля, об Игнасио и корриде. Клаудиа даже не подозревала, что неизвестный русский в это время внимательно рассматривает ее из-под полу-прикрытых век, и сердце его раздирают противоречивые чувства, вызывающие гораздо более сильные страдания, чем плохо затягивавшаяся рана.

Но уста его разомкнула все-таки не она, а Нардо и Бетунья. Однажды вечером, видя, как малыш пытается научить медвежонка ложиться по его приказу, он не выдержал.

– Эй, приятель, – обратился русский к сидящему у дверцы Гастону, – скажи малышу, что так у него ничего не получится. – Гренадер с удивлением посмотрел на пленного, а Нардо даже онемел от неожиданности, услышав членораздельную, хотя и не совсем понятную ему речь от человека, которого искренне считал немым, если не вообще неодушевленным предметом. – Пусть он заставит его сесть и после этого сунет под нос корочку. А как только зверь потянется, надо не отдавать ее, а отвести вперед и вниз так, чтобы медвежонок сам невольно лег. И, главное, пусть не забывает при этом повторять: «Couché, couche!»<sup>9</sup>, а потом похвалит, погладит и корку непременно отдаст.

Гастон перевел французскую речь на испанский.

---

<sup>9</sup> Куш! – команда «лежать».

Но Нардо, ошеломленный случившимся, даже не попытался последовать совету. Вместо этого он высунулся из окна, рискуя свалиться, и пронзительно закричал ехавшей впереди верхом Клаудии:

– Мама, мама, он заговорил, заговорил!..

Лед растаял. И долгое молчание было вознаграждено для Клаудии тихими, полными какого-то печального очарования рассказами русского о себе и своей родине. Он говорил о своем поместье, потерянном где-то в северных лесах, о блестящем, далеком и холодном Петербурге в россыпях снежных и бриллиантовых брызг, о гвардейских парадах и крестьянских полях, но никогда не касался этой войны и никогда ни о чем не спрашивал Клаудию. А она отдавалась плавному течению этих рассказов, уносивших ее, как на волнах, от действительности, с каждым днем становившейся все более и более ужасающей.

Многое из того, что творилось вокруг, она видела сама, но еще ужасней были новости, приносимые Гастоном. Гренадер рассказывал о том, как голодные солдаты вырезают языки у живых лошадей, оставляя пронзительно визжащих животных на произвол судьбы, как в госпиталях свирепствует странная болезнь, от которой в три дня даже легкораненые сначала впадают в молчание или наоборот буйство, потом пухнут, волосы у них становятся, как веревки, и поднимаются дыбом, они начинают петь и умирают в состоянии, близком к трансу. О том, как погибает от русской водки молодая гвардия, ибо стоит кому-то только выпить манерку, он отходит, качаясь на неверных ногах, потом начинает кружиться, падает на колени и в несколько минут отходит в иной мир без стопа и крика. О том, что бутылка воды стоит уже шесть франков, а хлеб – все пятнадцать... И о том, что страшному отступлению русских, которое хуже любого сражения, так и не видно конца.

И Клаудиа, как к спасению, обращалась к русскому.

– Почему это происходит, Владимир? Что это значит?

А он тушил синий огонь своих глаз, запуская пальцы в густую шерсть Бетуньи и неизменно отвечал вопросом на вопрос:

– А разве вам, герцогиня, как испанке, непонятно?

Нет, ей было это непонятно. Испанцы действовали совсем иначе; они дрались неистово, нападали со всех сторон, насмерть стояли в городах и самых маленьких поселках. Но даже несмотря на столь отчаянное сопротивление, французы все-таки который уже год все топчут и топчут их землю. А здесь?

Загадочность русских все больше поражала Клаудию. Глядя на постепенно поправляющегося капитана и в который уже раз поражаясь тому, как они с егерем всего вдвоем сдерживали продвижение вперед целого полка, она не могла сдержать восхищения. Русский уже рассказал ей, как Неверовский послал его к какой-то закрепившейся на берегу роте с приказом отходить вместе со всеми. Он же, прибыв на место и обнаружив на берегу вместо роты всего одного егеря, не только не передал ему приказа, но самовольно остался и стал стрелять вместе с ним. Дело же оказалось настолько жарким, что он успел мимоходом обменяться лишь несколькими улыбками с тем смельчаком, и даже не успел спросить его имени.

Клаудиа думала: «А что будет, если вдруг они все вот так остановятся? И почему не останавливаются они до сих пор? Что означает это постоянное и так уже истомившее всех отступление, если оно происходит не от неумения воевать и не от недостатка храбрости?»

Иногда к дормезу на несколько минут подъезжал Аланхэ, и русский, видя его, сразу же замолкал и прикрывал глаза. Генерал больше ни разу не спросил его ни о чем, и темы разговоров командующего с Клаудией оставались для капитана загадкой. Но однажды Клаудиа, догадавшись, в какое униженное положение не понимаемой им речью поставлен этот беспомощный и без того униженный пленом офицер, она вдруг заговорила при нем с мужем по-французски. Тонкие веки дона Гарсии дрогнули, однако мгновенно все поняв, он тоже пере-

шел на общепринятый вокруг язык. И тогда, почти вызываясь, Клаудиа задала ему все тот же, не дававший ей ни на минуту покоя вопрос: почему русские все отступают и отступают?

Аланхэ отвел глаза.

– Сочтите это всего лишь одним из многочисленных способов ведения войны, и тогда ничего особенного не останется. Или вы ожидаете ловушки?

– Ловушки? Нет, все представляется мне гораздо хуже. Понимаешь, эти странные болезни, эти туманы и кровавые закаты, животные, которые сами безропотно подставляют свои головы под обухи топоров... словно какая-то волшебная пелена окутывает эту страну, прозрачная, но непреодолимая, как в древних сказаниях. Мне трудно точно выразить свою мысль, и это, скорее ощущение, а не мысль, но оно верно. Мы словно медленно опускаемся в болото, вроде тех, в котором утонула едва ли не половина полка конноегерей под этим, как его, городком...

– Под Рудней?

– Да-да, такое же болото, ровное, невзрачное, сизое, и мы уходим туда, уходим, еще ничего не понимая...

– Вы устали, графиня. К тому же, этот климат очень вреден для южных людей. Я полагаю, раненого можно уже переложить в телегу, а вам надо хорошенько выспаться. Дон Гарсия поцеловал Клаудии руку, и губы его коснулись шероховатого чугуна кольца.

Он уехал, не оборачиваясь и всеми силами души стараясь не позволить себе думать о самой страшной правде, в последний месяц все отчетливей и неизбежней открывавшейся перед ним: русские ускользают и ускользают блестяще, что означает лишь одно: они вынудят Наполеона отказаться от завоевания страны и вернуться восвояси. «И что же тогда я? – с ужасом думал Аланхэ, – и зачем все это? Бессмысленность моей жертвы будет в таком случае слишком очевидна...»

Но на этом месте дон Гарсия каждый раз, прибегая к выработанной многолетней военной практикой дисциплине ума, заставлял себя думать о другом. Например, о том, что в самой Испании Веллингтон неуклонно теснит французов и, значит, что чем дольше непобедимый император французов находится здесь, тем все же лучше для его истерзанной родины...

Но исполнить приказ мужа Клаудии не удалось: в этот вечер они впервые остановились на ночь в городе. Разумеется, город, состоявший из одной длинной прямой улицы с гнилыми зубами полусожженных каменных домов, был разграблен шедшей впереди гвардией, но д'Алорно, догадавшемуся выслать вперед крупный пикет, все же удалось занять для штаба и Клаудии мезонин. Домик был розовый, с трогательными белыми колонками по фасаду и полукруглым окном на втором этаже. Следы копоты и грязи смотрелись на нем, как бесчестье на платье поруганной невесты.

В мезонине стояло даже две узких девичьих постельки с кружевными подушками малюсенькие, на полу, словно забытая впопыхах, лежала гитара с полинявшим лиловым бантом, а на подоконнике пылились несколько горшков с геранью. Мрачно оглядевшись, русский решительно отказался лечь на постель и устроился на соломе, а Гастон улегся в темном чулане, где пахло мышами и сушеными яблоками. Клаудиа впервые с того времени, как ночевала в польской хате, переживая бурю, оказалась на постели с чистыми простынями. Впрочем, ни о какой ванне не могло быть и речи. Нардо, наигравшись с подушками и затащив к себе Бетунью, быстро уснул, а она лежала с открытыми глазами, слушала, как мимо идут и идут войска и смотрела сквозь полукруглое окошко на черное мутное небо без луны и звезд. «Зачем она здесь – или лучше спросить, – почему? И что более реально, прошлая ее жизнь или этот морок, в котором она впервые ощущает себя щепкой, несущейся в пенном потоке неизвестно куда?»

Неожиданно из угла, где лежал раненый, послышалась какая-то возня, и по мезонину еле слышно зазвучала гитара, разливая тягучую, полную горечи и неизбывной тоски мелодию,

на которую ложились такие же слова. И, слушая их, затаив дыхание, Клаудиа не могла не признаться, что лучше этой песни сейчас ничто не могло бы выразить ее состояние.

*Среди долины ровныя,  
На гладкой высоте,  
Цветет, растет высокий дуб  
В могучей красоте...*

Русский пел почти шепотом, и постепенно Клаудиа словно погрузилась в какую-то полудрему, в которой все пыталась представить себе и эту ровную долину, и гладкую высоту среди нее. И дуб... Но тут что-то не совсем получалось: ей все никак не удавалось представить себе высокий и красивый дуб, а почему-то все время виделось дерево толстое, узловатое и разлапистое, которое затем вдруг превращалось в крестьянина в меховой шапке и сером неуклюжем кафтане.

*Высокий дуб развесистый,  
Один у всех в глазах;  
Один, один бедняжка,  
Как рекрут на часах!*

Продолжал между тем выводить раненый, и мысли Клаудии уносились все дальше. «Неужели этот странный народ губит и отдаляет от всех других именно это пронзительное ощущение своего одиночества в мире? И кому он нужен, этот русский народ, и кто нужен ему? А кому нужны мы? Не все ли столь же одиноки на земле, но только не ощущают этого, проводя жизнь в суете и погоне за какими-то призрачными идеалами?»

– В чем видите вы смысл жизни, Владимир? – вдруг неожиданно даже для самой себя прервала песню Клаудиа.

– Смысл жизни? – судя по тону, усмехнулся русский, приглушив ладонью струны гитары. – Во время войны ее смысл всегда заключается только в одном...

– Вы хотите сказать, в том, чтобы выжить?

– Нет, в том, чтобы победить, разумеется.

– И вы уверены, что вам это удастся? – в свою очередь усмехнулась она.

– Уверен, ваше сиятельство. Вот увидите, поедут русские казачки по Парижу.

– Казачки? По Парижу? – Эта страшная и даже до сих пор не приходившая ей в голову мысль буквально прострелила Клаудию.

«Так вот почему они так спокойно отступают и не торопятся даже в этом! Русский мужик долго запрягает...» – вспомнилась ей странная русская поговорка.

– Вижу, вас поразила эта мысль? – усмехнулся опять русский и слегка прошелся по струнам, ответившим ему покорно и нежно. – А мы даже не сомневаемся в этом.

«Что стоит за его мыслями и чувствами, если даже находясь в плену, будучи беспомощным и полностью во власти врага, этот русский не только не унывает, но и делает вид будто все идет как надо. А главное, верит, искренне верит в их победу! А ты... Разве ты, лежа на попоне в нетопленном доме, черная от голода, не верила? Я любила...»

*Где ж сердцем отдохнуть могу,  
Когда гроза взойдет?  
Друг нежный спит в сырой земле,  
На помощь не придет.*

Снова запел русский, и этот странный отклик на ее последнюю мысль испугал Клаудию. «Друг нежный спит в сырой земле». Нет, его не убьют, он не для того выжил в испанском аду, я люблю его, я столько шла к нему, пресвятая дева... Но песня говорила о другом, она была тиха, но неизбежна, и боль сжимала сердце Клаудии, и чтобы избавиться от нее, чтобы сбросить этот страшный морок, она снова перебила раненого:

– И как скоро это произойдет?

– Как скоро? – задумчиво переспросил он, но вместо ответа какое-то время молча перебирал струны, и Клаудии казалось, что это дрожат и плачут струны ее собственной души. – Что ж, Буонапарте – крепкий орешек и повозиться с ним придется немало. Впрочем, отсюда он сбежит быстро и сам, а вот до Парижа... Но, дайте срок, будем, будем и в Париже, ваше сиятельство. Я не мешаю вам своей песней? Там немного осталось, потерпите. – И снова, горький напев растревлял сердце, и хотелось плакать, и не знать темного грядущего.

*Возьмите же все золото,  
Все почести назад;  
Мне родину, мне милую,  
Мне милой дайте взгляд!..*

## Глава четвертая. Священная долина

Последние дни все во французской армии, начиная от самого императора и заканчивая простым солдатом, были чрезвычайно возбуждены. Русские закрепились на позициях и, похоже, готовились, наконец, дать сражение. Наконец-то! Теперь даже названия мест зазвучали совсем иначе – не скользкие Салтановка, Смоленск, или Валутина гора, а решительное и твердое Шевардино, Бородино и речка Колоча; от них так и веяло решительной битвой.

Некие едва уловимые перемены в поведении русских, а тем самым и в ходе войны, начались уже неделю назад, когда Клаудиа узнала, что у русских сменился главнокомандующий.

– Приехал Кутузов бить французов, – сразу же весело скаламбурил русский, и Клаудиа в который уже раз поразились той легкости и естественности, с которыми даже сама русская речь все сводила к благоприятному для этого народа исходу войны.

– Почему вы так уверены в том, что он именно тот человек, который способен противостоять Наполеону?

– О, само провидение назначило его к этой роли.

– Да что вы!?

– Не поверите, ваше сиятельство. Однако расскажу я вам его уникальную историю.

– Какую историю?

– Дело в том, что его сиятельство князь Михаил Илларионович был дважды ранен в голову; первый раз в Крымскую войну, второй раз – в Турции. И оба раза пуля, попав в левый висок, прошла через голову и вышла у правого глаза. Все думали, что светлейший не выживет как в первый, так и во второй раз, а у него лишь перестал правый глаз видеть.

– И что же, оба раза пуля попадала в одно и то же место? – удивилась Клаудиа.

– Именно. И прошла по одному и тому же пути.

– Не может быть.

– И тем не менее это так. Другого подобного случая не зафиксировано еще в истории войн. Но более всего удивительно, ваше сиятельство, было медицинское заключение. Врачи, будучи чрезвычайно пораженными этим невероятным фактом, завершили отчет своими следующими словами: «Надобно думать, что провидение, дважды исцелив его от ран, каждая из которых являлась смертельной, сохраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного».

Стояли ясные дни начала осени, но если в Испании в это время природа еще изнемогала под роскошной тяжестью плодов, то здесь все неуловимо изменилось в несколько дней. Ночи стали звонкими от измороси на траве и листьях, деревья – полупрозрачными, а по земле с шелестом поползли сухие листья. Нардо с восторгом собирал их целыми охапками, пытался воткнуть в шерсть Бетуны, приносил наверх, и в мезонине вместе с запахом кожи и лекарств поселился свежий запах умиранья, наводивший на Клаудию тоску и тревогу.

К вечеру, как обычно, заехал дон Гарсия, теперь все время проводивший где-то далеко впереди, где скапливались для решительного боя силы обеих сторон. Его тонкое лицо было крайне уставшим, но энергичным и оживленным. Впервые за годы, прошедшие с Сарагосы, Клаудиа увидела в этом породистом лице не скуку, не презрение, не отчаяние, не равнодушие – а жизнь. И надежда снова затеплилась в ней.

Почти машинально приласкав Нардо и посмотрев на трюки медвежонка, весьма любившего это занятие, которое отнимало теперь у Гастона немало времени на добывание обрезков и корок, Аланхэ зашагал по комнате и, намеренно употребляя только родной язык, оживленно заговорил.

– Я только что из штаба императора, где как раз обсуждался этот новый русский главнокомандующий – сеньор Кутузов. Он считается одним из самых талантливых учеников Суво-

рова. Несколько месяцев назад он разгромил намного превосходящих его численностью турок, воспользовавшись обманной тактикой отступлений и уклонения от сражений. Поэтому император все еще опасается, что тактика русских не изменится с его приходом, хотя из донесений разведки вроде бы следует, что русские строят укрепления и занимают позиции.

– Ты думаешь, что и это обманный маневр?

– Не знаю. От этих русских можно ожидать всего чего угодно. Это не испанцы.

– Но если они вдруг встанут и будут стоять так же, как... – Клаудиа бросила взгляд в сторону Владимира, который, будучи не в состоянии уйти, старался погрузиться в русские книги, обнаруженные Клаудией в одной из комнат занимаемого ими дома, – ...как тот егеря на Днепре?

– Корсиканец сомнет их, – уверенно сказал дон Гарсия. – Какая-то магическая сила исходит из него. Боюсь, у русских нет шансов...

– Совсем нет? – Клаудиа невольно снова посмотрела на склоненную русую голову в углу, и фраза о казаках в Париже вновь отчетливо прозвучала в ее ушах.

– Практически.

Тут Клаудиа в двух словах пересказала мужу историю странных ранений русского полковника.

– Вот как! Забавно, – на какое-то мгновение взгляд его унесся в неведомые необъятные дали, в которых, должно быть, обитало провидение. Но затем он вновь поспешно вернулся на землю. – Но главное не в этом. Главное... – Дон Гарсия вскинул голову, и его точеный профиль на мгновение вспыхнул в свете закатного солнца, падавшего через полукруг окна. – Секретные новости. Сегодня из Испании прибыл Шарль Фабвьер с последними донесениями. Что именно произошло, от всех скрывается, маленький капрал шептался об этом только со своим любимцем Неем, но... судя по всему ясно, что французы потерпели там весьма ощутимое поражение. – Он шагнул к столу и нетерпеливо разбрасывая бумаги пунктуального д'Алорно, извлек из-под них карту Испании. – Так... Веллингтон стоял на Тормесе, и единственной его целью могла быть Саламанка... И если он взял ее, значит...

– Значит, дорога через Гуадарраму на Мадрид открыта! – торжествующе закончила Клаудиа. Глаза ее лихорадочно заблестели. – В таком случае я тоже открою тебе один маленький секрет. Русский просил меня никому не говорить об этом, но тебе я не могу не сказать, особенно сейчас. Еще в конце июля русские подписали тайный оборонительно-наступательный союз с нашими кортесами.

– Вот как?! – Глаза дона Гарсии вспыхнули стальным блеском, и он долгим пытливым взглядом посмотрел на русского. Однако тот не шевельнулся и только медленно перелистнул страницу. – Отлично! Вот оно! – Аланхэ переплел пальцы, и заходящее солнце заиграло на старинных мавританских перстнях, победно вспыхивая на прощанье. – Будьте любезны, герцогиня, проводите меня немного.

Они вышли на скрипучую винтовую лестницу, на ступеньках которой багряными пятнами лежали потерянные Нардо по дороге кленовые листья, напоминавшие маленькие короны. По некоторым из них уже прошли тяжелые солдатские сапоги. За пыльными узенькими окнами стояли серые сумерки. Дон Гарсия прислонился головой к некрашеной раме и прикрыл глаза рукой. И странный свет без тени облил всю его фигуру, придавая ей призрачный размытый облик ангелов на полотнах Эль Греко: те же длинные ломкие пальцы, тот же скорбный и чувственный рот, и то же впечатление обреченности.

– Прости меня, Хелечо, – тихо проговорил он, не отнимая руки от глаз. – Прости за то, что в одно весеннее утро на Мансанаресе я позволил себе увлечься мечтой. Я не сделал тебя счастливой и вряд ли был счастлив сам – но не потому что не любил и не люблю тебя, а потому что, согласно какому-то странному неведомому закону, мечты не должны становиться реальностью. Древняя кровь не может выдержать напора юной жизни, и я не должен был связывать

с собой живую любовь. – Он, наконец, отвел руку, и Клаудиа утонула в серой, такой же, как свет за окном, бездне...

Весь вечер в мезонин прибегали адъютанты, гонцы, квартирмейстеры, лекари, и Клаудиа, взяв сына на руки, словно потерявшая всю способность говорить и двигаться, сидела в углу, почти бессмысленно глядя на приходивших и уходивших. Напротив в таком же молчании сидел на соломе русский и точно так же, но с жаром и оживлением, наблюдал за происходящим. И оба понимали, что означает это волнение в штабе: где-то там на востоке разгоралось сражение, в котором не будет победителей.

Настала ночь, последним покинул мезонин шатавшийся от усталости д'Алорно, заснул Нардо, свернулся в клубок рядом с раненым русским Бетунья, и вышел на улицу мучавшийся от своей бездеятельности Фавр, но ни Клаудиа, ни русский не спали.

– Думаю, не ошибусь, ваше сиятельство, если предположу, что вы не спите да и не можете спать, – первым нарушил гнетущую тишину Владимир.

– Вы правы, – тихо ответила Клаудиа, не зная радоваться или нет этому ночному разговору. И хотя оставаться в грозной тишине было невыносимо, разговаривать в такую ночь с врагом...

– Вам страшно, – мягко, не обвиняя, а оправдывая, продолжил русский, эхом подхватывая ее мысли. – В такую ночь всем страшно...

– И вам? Ведь вы так уверены в вашей победе.

– Я уверен в победе, но тысячи погибших, искалеченных, среди которых друзья, родные... И я, не имеющий возможности оказать им ни малейшей помощи. Я знаю, у вас там муж, но, поверьте, мое положение в тысячу раз горчей вашего. Даже если генерал погибнет, он навсегда останется героем, а я навеки лишен этого права. И даже в ваших глазах я буду только жалким пленным, обязанным вам жизнью... – Русский внезапно умолк.

Клаудиа понимала, что уверять его сейчас в обратном глупо, и все-таки с какой радостью она поменялась бы теперь судьбой с этим синеглазым капитаном!

– А-а, к черту! – послышалось из темноты почти похожее на стон восклицание русского. – Если завтра победите вы, то никто не будет держать здесь одного из тысяч русских раненых, вечную обузу победителей, если же мы – то меня уже не будет с вами... И потому... О, как ужасно не видеть ваших глаз в такой момент! Но все равно, я скажу вам то, что должен был сказать сразу же, дабы не ставить себя в ложное положение... – Клаудиа лежала, затаив дыхание, и кровь гулко стучала в ее висках. – Я люблю вас. Я полюбил вас с того самого мгновения, как на рассвете вы вошли в тот дом без крыши и опустились на колени. Тогда, в полубреду вы показались мне ангелом, спустившимся с небес... Я сразу понял, что вы не француженка, и еще – что вы удивительная женщина, презирающая условности, что в вас горит тот огонь жизни, который один имеет смысл в этом мире. Я признаюсь вам в этом сейчас, потому что знаю – чувство мое безнадежно, более того, оно вдвойне преступно, но я все же хочу, чтобы вы знали одно: возможно, вы и победите завтра, возможно, займете еще пол-России, но, в конце концов, вас ждет страшный конец, страшный настолько, что вы и представить себе не можете, и вот тогда вы найдете во мне человека, который будет рад отдать жизнь за ваше спасение. – Тут русский остановился, чтобы перевести дыхание, и вдруг услышал тихий, почти детский, звук плача. – Простите меня, – прошептал он, – простите и... мужайтесь.

Всю ночь, до самого того момента, пока на востоке не началась канонада, Клаудиа не сомкнула глаз. Стоявшая тишина мучила ее, и она ждала начала далекого сражения как облегчения. Где-то далеко в лесу изредка ухал филин. Вся природа замерла в ожидании, и даже яркий холод начала осени не мог развеять духоты, скопившейся, словно перед грозой. Правда, перед самым рассветом она погрузилась в горячечную дрему, больше похожую на бред, чем

на сон. Ей представлялась бархатная южная ночь, невероятные звезды, звонкое пение цикад, ясное дыхание весны и мучительное ожидание смерти. Вновь метался по лохмотьям голодный, сходящий с ума Игнасио, но его черты почему то все больше ускользали от нее, превращаясь в холодную застывшую маску дона Гарсии.

Ужас охватывал Клаудиу, холодная дрожь пробегала по телу, и она пыталась проснуться, но липкая паутина бреда не отпускала ее... Наконец, когда до городка докатились первые еще не слившиеся в единый рев и гул пушечные залпы, Клаудиа вырвалась из плена видений и, соскользнув на холодный грязный пол, стала жарко молиться.

– О, пресвятая дева, не оставь, не оставь его! Своим крылом защити, укрой! Я не хочу, чтобы он погиб! Он должен жить! Мы будем жить! И мы еще будем с ним счастливы!

Но слова молитвы не приносили утешения, и железная рука тоски никак не отпускала измученного сердца.

Владимир лежал, отвернувшись к стене и белея в сумерках повязками.

«О, если бы он тоже начал сейчас молиться этой своей Богородице, которая так посмотрела на меня в церкви горевшего Смоленска! Может, тогда бы мы вдвоем сумели умолить...» – вдруг подумала она, и, словно услышав ее мысли, русский медленно, преодолевая боль, встал на колени и, сняв с шеи овальный образ, положил его на левую ладонь.

– Богородица-дева, покрой нас честным своим покровом и избави нас от всякого зла...

И так, до тех пор, пока не раздалось на лестнице спешащие шаги Гастона, два человека, разделенные по рождению огромными пространствами Европы, религией и войной, мужчина и женщина, испанка и русский, молились вместе и верили, что единый Бог смиляется над... но над которой же стороной?!

Генерал Аланхэ этой ночью тоже не спал. Сомнений больше не оставалось, битва состоится наутро. «Посмотрим же, как дерутся русские, дерутся, не уходя, не оставляя городов, а лицом к лицу, – лихорадочно размышлял он. – Этот день должен решить все. *Patria o muerte*. И если мне доведется нынче идти в бой, то я приложу все силы, чтобы выбить тебя, русский медведь, из твоей вековой беспробудной спячки. Я уязвлю тебя в пяту, чтобы ты завизжал, завыл, закрутился от боли и сокрушил на своем пути все преграды и всех врагов. Но если завтра мы сметем их? – вдруг ужасом полоснула дона Гарсию страшная мысль о не такой уж и нереальной возможности новой победы маленького капрала. – Тогда... тогда... о нет, лучше мне умереть на этом священном поле».

Выхода не было, и смертный страх, свидетельствующий не о трусости, а, скорее, наоборот, о полном владении собой, холодной рукой стиснул душу Аланхэ. Что смерть, если останется в неприкосновенности честь? Но все же он был жив, молод, ему еще не исполнилось и тридцати двух, и в эту осеннюю ночь жизнь казалась ему особенно прекрасной. Но наслаждаться ей он уже не мог, и только вера в то, что все расчеты графа де Мурсиа и его повелителя до сих пор странным образом оправдывавшиеся, оправдаются и далее, согревала его уставшее от сомнений сердце.

Сражение началось на рассвете. Сотни орудий и с той и с другой стороны разорвали звонкую тишину ускользящей ночи, и начался настоящий ад на земле. Полки за полками, батальоны за батальонами шли вперед, но не проходило и часа, как они возвращались изрядно потрепанными с поредевшими втрое, а то и вчетверо рядами. Потом проходило двадцать минут, полчаса и, перестроившись, они уходили в атаку вновь.

Поначалу сражение завязалось почти по всей линии соприкосновения русской и французской армий. Наполеон действовал в своей обычной манере, пытаясь нащупать наиболее слабое место противника, чтобы затем обрушить на него всю мощь своих резервов.

Однако время шло, волны атакующих накатывали и откатывались, а слабых мест в позициях русских нащупать все не удавалось.

Португальский легион долгое время стоял в стороне, возможно потому, что его не считали достаточно надежным и не верили в способность собранных силой людей прорвать оборону русских. А русские, похоже, и в самом деле встали намертво. Прошло уже пять часов с того момента, как завязалось это грандиознейшее сражение, Семеновские высоты<sup>10</sup> и большой Бородинский редут уже не однажды переходили из рук в руки, но ни на одном участке фронта французам пока так и не удавалось достигнуть никакого решительного успеха.

Наполеон начинал нервничать. После шестой атаки, выбившей с флешей Багратиона, он уже хотел устремить туда основные силы и даже отдал команду коннице Мюрата. Но к Багратиону, и слева от Раевского, и справа от Тучкова неожиданно подошли подкрепления, которые не только вновь выбили с флешей французов, но и опрокинули уже хлынувшую туда конницу неаполитанского короля.

– Дьявольщина! Такого я не припомню! – вырвалось у д'Алорно. – Они опрокинули самого Мюрата! – и генерал нервно затеребил темляк шпаги.

Аланхэ мрачно прохаживался вдоль строя своих солдат, также весьма истомленных многочасовым ожиданием приказа. Он не ответил своему начальнику штаба, поглощенный одной, бившейся у него в голове мыслью: «Вот оно! Вот оно! Началось! Происходит! Сворачивается! Вот оно! Встали! Стоят! Намертво! Намертво!»

Он привычно быстро по немногочисленным доходящим до них признакам успевал оценивать все то, что происходило там, в отдалении, где сейчас грохотала жуткая неумолкающая канонада. Наполеон, должно быть, изрядно нервничает, хотя и не показывает вида. Он явно хотел прежде всего опрокинуть самого достойного на его взгляд из противников – Багратиона, рассчитывая, что затем вся остальная русская армия рассыплется, как песок. Однако, отчаявшись опрокинуть левый фланг русских, на котором стоял этот легендарный генерал, корсиканец бросил передовые силы Даву и Нея, придав им также корпус Жюно, на большой Бородинский редут, защищавший центр позиций русских, а в обход левого фланга послал конницу Понятовского.

Но и тут оказалось, что генерал Раевский стоит не менее твердо, чем генерал Багратион, а еще через час стало известно, что польская конница наткнулась на Старой смоленской дороге на упорное сопротивление генерала Тучкова, не позволившего ей обойти левый фланг позиций Кутузова. А вот уже и с большого редута французы вновь, едва успев занять его, выбиты неожиданно подоспевшими подкреплениями русских. Похоже, Кутузов тоже не дремлет и очень внимательно следит своим одним глазом за развитием событий.

«Вот оно! Вот оно!» – все так же мрачно ходил в такт своим мыслям перед строем дон Гарсия, глядя, как то и дело мнутя и переступают с ноги на ногу уставшие пехотинцы, позвякивая амуницией. Приближалось уже одиннадцать, скоро полдень, а французы еще не продвинулись ни на шаг.

– Да скоро ли, наконец, дойдет и до нас?! – не выдержал вдруг стоявший неподалеку обычно невозмутимый д'Алорно.

– Что, не терпится умереть? – вдруг с трудом разлепил пересохшие и слипшиеся от долгого молчания губы Аланхэ, высказав едва ли не свое самое заветное желание.

– Да уж лучше русский штык в бок, чем такое бессмысленное стояние.

– Ну что ж, похоже, Господь услышал нас, – сказал Аланхэ, застывшим взглядом оценивая расстояния между ними и несущимся всадником, в котором уже в следующий момент явно можно было различить одного из адъютантов князя Экмюльского.

Все вокруг застыли, рядовые перестали переступать с ноги на ногу, словно эти сказанные вполголоса слова командующего в мгновение ока облетели весь Португальский легион.

---

<sup>10</sup> Так французы называли Багратионовы флешы.

В копоти и грязной повязке на лбу, адъютант князя полковник граф де Компьен круто осадил коня рядом с Аланхэ, и крикнул, стараясь перекрыть грохот:

– Граф, выводите своих!

– Позиция? – быстро спросил Аланхэ.

– Семеновские высоты, пока правая флешь, – лошадь нервно плясала под адъютантом.

Аланхэ отдал все необходимые распоряжения, и легион, полный решимости, сурово двинулся прямо в сторону грохотававшего неподалеку боя. Земля под ногами донна Гарсия содрогнулась, как живая плоть.

Адъютант уже разворачивал коня, но тот прыдал ушами и дрожал, не желая снова возвращаться под рев пушек.

– А, чертова скотина! – озлился Компьен. – Пятого коня меняю с утра! – Он стегнул лошадь хлыстом. – Поторопитесь же, граф, – нервно добавил он, – судя по всему, наша шестая атака вот-вот захлебнется! – Но Аланхэ уже не слышал его, стараясь держать своего белого араба в интервале между первым и вторым батальоном португальцев. Через пару минут адъютант, справившись, наконец, с конем, обогнал их и скрылся впереди в серой мгле дыма.

Аланхэ, чутким опытным ухом слыша дружный и ровный звук шагов, всегда говорящий о готовности солдат к бою, тоже выскакал рысью впереди легиона.

«Итак, седьмая атака... Значит, Багратион стоит твердо. Кажется, именно он некогда мерялся силами с самим Моро, и Моро проиграл. Моро! Таланту которого сам Наполеон завидует до сих пор. Однако Даву, Ней и Мюрат под командой Наполеона будут все же посильнее одного Моро, как бы он ни был гениален. Так что... если, конечно, Кутузов и прочие русские генералы...»

Но он не успел додумать, как заметил мчавшегося ему навстречу самого приземистого князя Экмюльского. Лицо маршала было каким-то серым.

– Граф, вам выпала честь возглавить седьмой вал наступления. Ваша позиция – центр флешей. Ваш противник – лучший русский генерал князь Петр Багратион. Ваша слава – в ваших руках! Занимайте позицию и ждите сигнала, генерал.

Князь Экмюльский помчался дальше, а дон Гарсия стал выводить легион на исходную позицию.

«Ваша слава в ваших руках!» – зло подумал Аланхэ, мысленно посылая начальника корпуса ко всем ведомым и неведомым чертям и еще раз оглядывая дымящиеся высоты. – Мерзавец, посылает на верную смерть. Хочет, прикрывшись телами испанцев и португальцев, сам вскочить на коня славы. Но... не того ли мы все и просили у Бога только что», – злая ирония сквозила теперь во всех мыслях Аланхэ. По-настоящему его как профессионального военного сейчас привлекало только одно – прямое столкновение лоб в лоб с самим Багратионом! Разве мог о таком мечтать пятнадцатилетний маркиз, ходивший в атаку с одной шпагой на склонах Канигу?!

Впереди гремело не переставая. Гром пушек, ружейная трескотня и крики сливались в один могучий утробный гул. Клубы и завесы дыма, из которого то и дело вырывались яркие вспышки пушечного огня, скрывали от глаз полную картину боя. Тут и там темнели колонны атакующих. Разрывы снарядов и свист пуль теперь уже раздавались не только в отдалении, но и поблизости: среди людей Аланхэ нескольких человек уже успело выбить еще до начала вступления в дело.

Легкий холодок, обжигая, пробежал по всему телу донна Гарсии; по завязавшейся вокруг суете он уже отчетливо понял, что вот-вот раздастся сигнал атаки.

«Пресвятая дева, вручаю тебе судьбу свою... – еще успел прошептать он, как прозвучал рожок, и Аланхэ рванулся вперед с отчаянным криком «En avant», неожиданно перешедшим в клич испанцев «Patria o muerte»!

Огромная масса войск в едином порыве двинулась прямо в самое пекло боя, непрерывно извергавшее навстречу бегущим людям большие и малые раскаленные плевки.

Наполеон, отчаявшись взять укрепления левого фланга русских в лоб, бросил в поддержку этой атаки корпус Жюно, который должен был обойти флешей еще южнее Понятовского. Всего к этому моменту против Багратионовых флешей было сосредоточено около сорока тысяч солдат и около четырехсот орудий. Но русские проявляли какое-то зловещее упорство.

Аланхэ скакал вперед, увлекая за собой солдат и автоматически отмечая про себя все детали боя.

«Сейчас они пустят в дело картечь», – подумал он и постарался сместиться таким образом, чтобы двигаться прямо в лоб одной из пушек, поскольку при стрельбе картечью это являлось наименее опасной зоной. А ему необходимо было во что бы то ни стало довести своих людей до линии обороны русских.

– Рассыпся, вперед! – успел скомандовать он как раз в тот самый момент, когда батарея русских, вспыхнув огнями, окуталась белым дымом.

Солдаты успели рассыпать кучный строй, и прошипевший град раскаленных осколков выкосил лишь немногих.

– Вперед, вперед, быстрее! – кричал Аланхэ, поскольку теперь от скорости передвижения зависело очень многое, если и вообще не все.

Но русские перезаряжали очень быстро. Последовал второй, затем третий, затем четвертый залп, от которых ряды Португальского легиона становились все малочисленнее. У Аланхэ срезало султан, порвало в нескольких местах плащ, но он уже ничего не видел вокруг, кроме близкой темной линии русского редута и считал только мгновения, движения, дюймы, дабы не пропустить момента для следующей команды.

Но вот прозвучал шестой залп, и до пушек осталось не более пяти туазов.

– Сомкнись! Наддай! Штыки вперед! – закричал Аланхэ, переходя с рыси в галоп, не пропуская вперед, как следовало бы, разогнавшуюся массу пехоты, дабы теперь из-за солдатских спин следить за развитием дела и подавать необходимые команды. Вместо этого, одержимый главной задачей непременно овладеть пушками и закрепиться, не позволив русским снова вернуть себе эту огневую точку, он метнулся вперед сам.

Но тут русские артиллеристы вдруг, бросив орудия, отбежали, а им на смену, словно из под земли выросла плотная стена егерских штыков.

Араб Аланхэ сходу напоролся на эти штыки и, страшно заржав, начал медленно запрокидываться. Аланхэ, уже стремительно взлетевший на вал, еще успел увидеть там впереди поверх русских киверов энергично вертящегося на коне и что-то кричащего с поднятой вверх шпагой русского генерала с густой черной шевелюрой, но уже в следующее мгновение какая-то невероятная тяжесть черным облаком придавила легкое тело дона Гарсии к земле...

Пала ночь. Наступившая вдруг после столь долгого и неумолчного грохота тишина казалась какой-то невероятной, невысказанной, нереальной. Клаудиа порой даже думала, уж не оглохла ли она за этот день. Длившееся целый день сражение закончилось, однако, до сих пор ничего так и не было понятно.

Клаудиа вышла на улицу, готовая останавливать каждого встречного, но ни один из оставшихся не мог ей сказать ничего связного и определенного.

– Португальский легион? – удивился один из легкораненых солдат, приковылявший еще к вечеру. – Да он, кажется, и вовсе в деле не участвовал.

– А я, наоборот, слышал, что бедняги все полегли, косточка к косточке, – отозвался другой, передвигавшийся на импровизированных костылях.

– Ну что вы, ваша светлость, так не бывает, чтобы все, – как мог, утешал Клаудию Гастон. – Обычно участники всегда так преувеличивают, сам не раз молол ерунду, хотя, потери, видно, и в самом деле немалые. Но Бог милостив, генералы погибают редко. Разве что ранен...

Всю ночь опять не могла уснуть Клаудиа. Постепенно от прибывавших с места сражения людей становилось все ясней, что битва была и в самом деле чрезвычайно жаркой. А главное – ни к чему не привела. К ночи французы отошли на свои исходные позиции.

«Неужели и завтра снова будет происходить такой же ад? – думала Клаудиа, вспоминая бесконечные потоки переносимых на носилках и неуклюже ковеляющих раненых. – Но что, что с Аланхэ? Почему нет ни вестей, ни адъютантов, ни д'Алорно, наконец?»

Однако на следующий день никакого ада не последовало, все было тихо. Видимо, обе стороны подсчитывали потери и отдыхали.

Осунувшаяся, с темными кругами под глазами, две ночи подряд не спавшая Клаудиа вновь чувствовала себя запертой в клетке птицей. Гастон, ходивший вместе с мальчиком по всему городу и опрашивавший участников вчерашней битвы, был мрачнее тучи. Выяснить ничего не удавалось, все сведения по-прежнему были самые противоречивые. И потому, когда около полудня Клаудиа увидела под окном виконта, она обрадовалась ему, как самому близкому другу, и, не дожидаясь его приближения, бросилась юноше навстречу.

Тот неловко спешил. Левая рука виконта висела на перевязи, голова оказалась в несвежих бинтах.

– Виконт, вы ранены? – поразила она.

– Это все ерунда, ваше сиятельство, – грустно сказал Ламбер. – Мне, можно сказать, повезло. Вчера полегла едва ли не половина нашей армии.

– Пол-армии?! – побледнела Клаудиа и невольно схватилась за стремя, чтобы не пошатнуться.

– Да, ваше сиятельство. Такого... – Ламбер хотел сказать, что не помнит такого, но опомнился и тихо закончил. – Такого никто не мог даже представить.

– Пол-армии, и не продвинулись ни на шаг?!

– Увы. Но русским тоже досталось. Говорят, их потери еще больше наших. Раненых даже не подбирали ни они... ни мы, – стыдясь истомленного ожиданием и неизвестностью женщины, почти беззвучно добавил он. – Убитых подсчитывают по спискам... Там невозможно пройти человеку – не то, что фурам. – Юноша хотел рассказать еще о том, что видел сам, но его остановили обезумевшие от ужаса глаза. Неужели она ждет от него, что он скажет ей о графе? Ламбер знал, что полегло не только большинство португальцев и испанцев, но погиб даже Фавьер, тот самый Фавьер, что привез Наполеону известие о разгроме в Испании. Как курьер он имел право не участвовать в деле, но пошел доказывать, что если они не разбили испанцев, то уж русских разобьют точно... – К сожалению, ваша светлость, о вашем муже ничего достоверного пока узнать не удалось. Потери, конечно, огромные. Сегодня не досчитались сорока семи генералов. Но ни среди убитых, ни среди раненых графа пока не обнаружили... – тут он опять замолчал и отвернулся, чтобы не видеть сразу же посеревшее лицо Клаудии. – Но раненых подбирают местные крестьяне, говорят, что они вполне милосердны и как истинные христиане не делают различий между нашими и русскими... Да и пленных много. Уже известно, что точно взят в плен генерал Бонами. Так что... надежда еще есть.

Большого до конца этого дня Клаудиа, как ни пыталась, так и не смогла выяснить. Гастон и Владимир, каждый на свой лад, пытались по очереди утешать ее. Гастон рассказывал всевозможные невероятные случаи из прежних походов. Но что были все эти рассказы для женщины, которая и сама уже прошла в этой жизни через не меньший, если еще и не через больший ад. Гораздо вернее ее успокаивали призывы русского верить.

Все первые два месяца этой большой войны Педро провел почти припеваючи. Отличный возраст, прекрасная школа выживания в детстве, уроки донна Гаспаро, ад Сарагосы, муштра Вестпойнта и начатки мудрости североамериканских индейцев делали его жизнь в русских просторах вполне сносной, а порой даже и комфортной. В его полужэскадроне у людей всегда были хлеб, вино и уксус, что в такую жару оказалось немаловажным, и даже лошади у них постоянно находились в приличном состоянии. В то время как в других подразделениях животные падали от непривычного климата, от того, что оставались взнузданными по двадцать часов, наконец, от того, что, находясь на одном лишь подножном корме, ослабляли себе зубы и потом умирали от недоедания при полных торбах грубого овса. Педро же, не обращая внимания на приказы, на ночлегах укладывал коней вместе с людьми, разнуздывал лошадей при любом удобном случае, и едва ли не силком заставлял солдат кормить их осиновыми ветками. В эскадроне его любили и не выдавали, а в фактическом неисполнении приказа в той суматохе, в которой наступала армия, уличить кого-то, кроме высших офицеров, было делом нелегким. К тому же, дурная слава неаполитанцев в данном случае только играла ему на руку.

Педро сам объезжал все интересующие его места – а интересовало его многое: устройство местных домов и простая жизнь деревень, система казачьей упряжи, съедобные коренья и животные местного леса, а также масса мелких, на первый взгляд никому не нужных подробностей. Педро уже давно знал, что на войне, впрочем, как и в жизни, мелочей не бывает, потому что никогда неизвестно, что и как неожиданно может пригодиться тебе однажды.

Кроме того, он забрал в свое полное распоряжение юного тамбурмажора Марчелло, поскольку мальчик, так счастливо по воле Педро избежавший ужасов июньской бури, привязался к нему, как собачонка. В основном Педро употреблял его для посылок под разными предлогами в главную квартиру Португальского легиона, получая таким образом сведения о Клаудии. Марчелло оказался смышленным малым и приспособился даже иногда играть с Нардо, незаметно вытягивая из малыша нужные сведения. Кроме того, рядом с Педро была Эрманита, всегда составлявшая для него добрую часть прелестей жизни, и потому он мог считать, что русская кампания – предприятие вполне сносное.

А в начале июля расщедрившаяся вдруг судьба послала ему и еще один подарок: отправившись назад в обозы, чтобы раздобыть без провиантмейстера давно не получаемые солонину и лярд, в одном пыльном еврейском местечке Педро вдруг услышал на площади оживленный смех солдат и призывный звон монет. Подойдя поближе, он увидел, что играют в райуелу<sup>11</sup>, причем, громче всех звенит набранными в подол наполеончиками кудрявая марки-тантка. Ленивыми, грациозными и в то же время точными движениями она кидала золотой кружочек и ловко поднимала два. При виде этой раскрасневшейся от возбуждения девушки сладкое тягучее воспоминание разлилось волной по всему телу Педро.

– Франча! – негромко позвал он.

Девушка от неожиданности ахнула, и деньги со звоном посыпались из ее подола. А в следующий момент она, забыв обо всех вокруг, уже висела на шее у Педро.

За четыре года поцелуи ее не стали ни холоднее, ни безвкусней, и Педро, заранее плюя на разговоры и недовольство начальства, привез ее на спине Эрманиты к себе в часть и отдал девушке одну из своих горных лошадок. Веселая и покладистая Франсиска вела себя среди русских полей, пожаров и канонад так же непринужденно и толково, как и в апартаментах графини Кастильофель, и Педро искренне восхищался ее неутомимостью. Ночами они в лесу лежали на пополах и порой до утра болтали о том, без чего не может жить настоящий испанец: о горячем свете, обливающим золотом апельсины, о тертулиях Севильи, о бескостных пелеле, с которыми так хорошо учиться любви девушкам, и еще о многом, многом другом.

---

<sup>11</sup> Испанская народная игра, заключающаяся в бросании монет на точность.

– Знаешь, кого я видела тут недавно? – блестя спелыми вишнями глаз, однажды хитро спросила его Франсиска. – Никогда не угадаешь!

– Никогда, – покорно согласился Педро, целуя смуглую пыльную лодыжку.

– Маленькую любовницу кердо! Она, оказывается, умудрилась выскочить замуж за сарагосского героя, этого душку Аланхэ. Есть же женщины, которые умеют устроиться, как ни в чем не бывало! – без злости, но с затаенной печалью вздохнула девушка, и тут же заставила себя улыбнуться. – А мне, кроме неба над головой и тебя рядом, ничего больше в этой жизни и не нужно!

Педро хотел добавить, что у графини Аланхэ еще и родился сын, но промолчал и только равнодушно спросил:

– И как она?

– А каково может быть такой неженке среди трупов и пожаров? Что, вообще, понесло ее сюда? И знаешь, – вдруг задумчиво добавила Франсиска, – она была такая печальная и очень напомнила мне, упокой Господи его душу, старшенького сеньоры, который сгинул тогда в Аранхуэсе. Красивый был мальчик, только очень странный...

Педро усмехнулся и, дабы скрыть эту усмешку, крепко притянул к себе девушку: от этого сгинувшего мальчика он ждал письма со дня на день.

Однако ближе к началу осени дисциплина ужесточилась, стычки стали реже, но над всеми словно нависло нечто грозное, и Педро нюхом опытного солдата понял, что решающий бой не за горами.

В тихую ночь он сидел под стенами русского монастыря, куда привез раненого шальной пулей Марчелло. Мальчик умолял не оставлять его здесь, в темных кельях, где, несмотря на обилие не только раненых, но и французских хирургов, иногда бесплотными тенями мелькали черные бородатые лица русских монахов. Часть их ушла, но часть осталась, затаившись в подвалах, и теперь они казались вестниками смерти, являвшимися забирать души умирающих.

– Я с вами, я лучше с вами, – шептал, стараясь не стонать, мальчик.

– Завтра, похоже, будет жаркое дело, старина – или ты хочешь погибнуть под копытами казачьих коней, когда они, не дай Бог, пройдутся по нашим тылам? Мы будем приходить к тебе, а потом, когда двинемся дальше, я сам заберу тебя отсюда. День, два, много три – подлечись и вперед. – Однако, несмотря на всю свою показную бодрость, Педро оставлял Марчелло с нехорошим предчувствием. Он сунул лекарю двадцать франков, и, отвернувшись, чтобы мальчишка не увидел заблестевших глаз, прижал юного тамбурмажора к груди. – Ну, держись, малыш. Лошадки будут скучать без тебя... да и я тоже.

Однако что-то не давало Педро уйти сразу, и он присел под монастырской стеной, еще теплой от дневного солнца. Почти у самых его ног мирно журчал ручей. Педро несколько раз порывался вынуть из кармана полученное еще вчера письмо, но снова и снова откладывал чтение. Он не вскрыл пакет вчера из-за какого-то, ему самому непонятного суеверного чувства, и сейчас оно снова не давало ему разорвать серую бумагу. «Может быть, лучше после боя?» – мысль о том, что его могут убить в эту странную русскую кампанию, пока ни разу не приходила Педро в голову. Она не пришла ему даже тогда, когда безоружный и голый он несся на четверых русских казаков. Но все-таки знание непредсказуемости военной жизни заставило его вскрыть конверт. Письмо было на пяти страницах, бумага грязная, буквы хромали.

*«Друг мой, прекраснейший друг мой!*

*Большой Арапиль – вот теперь имя нашей славы! Но какой ценой! Не имея времени, не пожалею, однако же, последнего, чтобы описать тебе наш триумф.*

*Поначалу мы, выбив мосьюров – прости мне, что употребляю сие простонародное выражение, но я уже слишком привык к нему – из Саламанки, теснили их вплоть до Тордесильи. Но через Дуэро нам перебраться, увы, не*

*удалось: Мармон, как бешеный пес, огрызнулся и оттеснил нас вновь на берега Тормеса. Но тут мы уперлись так, что у костров даже сочинили песенку:*

*В Карнио Бернардо встал,  
Мавры встали в Арапиле:  
Воды Тормеса врагов  
Не навеки разделили...*

*И вот 22 июля началось, наконец, жаркое дело. Главным для нас, да и для мосьюров, конечно же, тоже, было овладеть господствующей здесь высотой – Большим Арапилем. Однако Мармон сделал вид, что вовсе не собирается этим особо заниматься, а готовит какой-то другой маневр. Но Лорд Веллингтон, тот самый, что, помнишь, как-то раз приезжал в замок, не поддался на его уловку. Он также сделал вид, что вовсе не собирается занимать этот злополучный холм. Мы целых полдня стояли друг против друга и выжидали, кто первым допустит какую-нибудь ошибку – и это в то время, когда наши правый, а их левый фланги ожесточенно дрались за Большой Арапиль. Потери там были, мой капитан, чудовищные.*

Прочитав эти строчки, Педро невесело усмехнулся: счастливый мальчик, он не знает, что такое и в самом деле «большие потери» – и дай-то Бог никогда не узнает. Мы здесь всего десять недель, а французская армия практически еще без особых сражений уже потеряла более ста тысяч человек – вдвое больше, чем участвует на Тормесе с обеих сторон вместе взятых. А что-то еще будет завтра. Однако, встряхнув головой, Педро отвлекся от этой грустной мысли и стал читать дальше.

*И вот где-то к полудню, увидев, что, несмотря на все отчаянные атаки, левому флангу мосьюров никак не удастся выбить англичан с холма, а Лорд все не двигается с места и в любой момент готов подвести к своим трем полкам резервы, Мармон решил идти напропалую. Он двинул в обход нашего левого фланга треть своего корпуса, надеясь отвлечь внимание Лорда от высоты. Однако тот не поддался на его трюк! Большие того, совершенно хладнокровно выждав еще немного, он неожиданно бросил всю свою конницу и ударные силы центра в образовавшийся между левым и правым флангом французов разрыв, а мощный резерв сразу двинул на поддержку державшимся уже из последних сил на склонах холма немногим смельчакам, среди которых был и ваш покорный слуга.*

*Что тут началось! Ты бы видел, Педро! Мосьюры дрались отчаянно, мне никогда еще не доводилось видеть ничего подобного. Ах, как французы с англичанами ненавидят друг друга, ты не поверишь, даже наш испанский гнев бледнеет в присутствии этой ярости. И все же французы, несмотря на всю их ярость и отчаянную отвагу, вынуждены были сломаться – силы их оказались слишком расчленены. Говорят, самому Мармону, пытавшемуся спасти положение, ядром оторвало руку...*

*Разгром был полный!*

*Но и это еще не все, мой капитан. В том бою я получил пару царапин, которые ненадолго лишили меня сознания, и очнулся я от того, что вокруг моего лица порхает бабочка. Описав несколько кругов, она вдруг опустилась мне на лоб, крылья ее были горячие, тяжелые, плотные, я открыл глаза: надо*

*мною склонялось лицо, не молодое и не старое, не мужское и не женское. Я подумал, что умер, и ангел явился уже за мной.*

*– Не бойся, – сказал мне ангел, – раны твои неопасны и ты скоро снова поправишься. Дай мне твою руку, я посмотрю твоё будущее. – И он взял мою руку, и вдруг с удивлением спросил. – А где кольцо? – Но я в жизни не носил колец, как ни заставляла меня мама. – Последнее слово было густо зачеркнуто, Педро с трудом разобрал его и печально улыбнулся. – Какое кольцо? – Разве оно еще не вернулось к тебе, однажды из-за тебя отправившись в путь? – Нет. – И никто не дарил тебе кольца с гранатом? – Тут Педро даже прикусил губу. – Да нет же! – И тогда оно, это странное существо, наклонилось ко мне совсем близко и долго молчало, проникая, кажется, прямо мне в душу. – Тогда скажи тому, у кого оно, чтобы он, потеряв многое, все же спешил туда, где железо станет легче воздуха, и там ему откроется необходимое. – Боже мой! – воскликнул я. – Если ты так хорошо знаешь все то, что ждет нас всех впереди, то скажи мне только одно: где она, где моя любовь, где мой Мусго, где... красные ягоды?! – И ангел, а может быть, и сам сатана, ответил мне: ты увидишь ее не раньше, чем Испания смочет французской кровью свои преступления за тысячу лет. И я пришел в себя, а надо мной высился только кедр, и рука моя была в смоле.*

*Педро! Душа моя смущена, я ничего не понимаю и знаю только одно, что мне остается драться и драться. Но теперь у меня есть хотя бы надежда. А что касается кольца, то, может быть, ты что-нибудь знаешь об этом. У кого могло быть такое кольцо? У Князя мира, мамы, моей настоящей мамы или... у отца? Или у дона Гаспаро, у Клаудиты? Куда и кому теперь надо спешить и что узнавать? Напиши мне срочно, что думаешь обо всем этом, я к тому времени уже буду вновь здоров. Теперь перед нами дорога на Мадрид, наш любимый Мадрид, самый прекрасный город на свете! Храни тебя пресвятая дева Аточская, а я совсем теряю голову.*

*Твой навеки – И. Г., обитель Санта-Мария-де-ла-Пенья, местечко Торрес».*

Педро задумчиво смотрел на отблески далеких костров в жалком ручье. Несомненно, мальчику явилась она, дьяволица из Сарагосы, с которой Педро оказался связан невидимыми нитями с того самого момента, как однажды в бешеной скачке на пути в Бадалону та крепко-накрепко обняла его, еще двенадцатилетнего мальчишку, за плечи. Но до сих пор ничего дурного он от нее не видел, как с тех пор не видел и ее саму. Она являлась Хуану, теперь Игнасио, но ему с тех пор так больше ни разу и не явилась... И кольцо. Честно говоря, Педро давно забыл про кольцо, которое валялось у него где-то на дне переметной седельной сумки, но даже если видение бедного Игнасио – бред раненого, то все же стоит задуматься. Всякий испанец – суеверен. И хотя за годы жизни вне родины Педро почти излечился от этой болезни, давно поняв, что к знакам надо прислушиваться, но нельзя ими руководствоваться, это письмо почему-то сильно разбередило его душу. Что значит – «потеряв многое»? Каррамба! Все же, пожалуй, не надо было вскрывать это чертово письмо, хотя бы оно и сообщало о такой удаче, как победа над французами! Впрочем, и эта удача его народа тоже лишь еще больше разбередила ему душу.

«Какого черта я вообще торчу здесь?! Зачем теряю напрасно время, да еще помогая этому врагу рода человеческого?! – эти вопросы, пожалуй, впервые со всей серьезностью полоснули душу Педро, считавшего поначалу, что для него, как для профессионального военного, участие в такой большой настоящей войне просто необходимо. – Однако ладно я, я – понятно, а вот дон Гарсия? Вряд ли кто-нибудь и когда-нибудь мог заподозрить его в глупости или бесчестии... Кроме того, ведь он отправился служить в корпус Даву не откуда-нибудь, а напрямиком из замка

д'Альбре, а значит... Значит, на этот шаг его благословил сам дон Гаспаро?! – вдруг пронзило его сознание это естественное по своей логичности соображение. – И Клаудиа?..»

Но размышлять дальше у него теперь не было ни времени, ни желания. Педро решительно встал и, не торопясь, побрел к полку, стоявшему вправо от Валуево. Как бы там ни обстояло дело со всем остальным, теперь он твердо знал только одно: если такой безупречный человек, как граф Аланхэ, герцог Сарагосский здесь, а не где-нибудь, то он, Педро, останется рядом с ним! И уже под утро, еще раз перечитав письмо Игнасио, Педро, сам не зная зачем, надел на палец гранатовое кольцо Пепы.

Весь день Можайского сражения<sup>12</sup> полк Педро бросали с одной позиции на другую, но по странному велению судьбы, они каждый раз оказывались там, где атака уже захлебывалась или, наоборот, заканчивалась удачей, и их снова отправляли куда-то в иное место. Эти бессмысленные перемещения выматывали людей и лошадей, зря ломавших ноги о раздробленные пушки, остатки волчьих ям и просто груды трупов. Эрманита уже начинала вопросительно косить глазом на хозяина, спрашивая, сколько же еще будет продолжаться эта бессмыслица? Педро же в ответ только извиняющимся движением прижимался щекой к вспотевшей холке, отмечая легкие царапины. Да, он отчетливо видел, что за это время один осколок гранаты уже оцарапал ей ногу, и пулей выжгло шерсть на шее.

Но вот к середине дня кобыла вдруг начала дрожать, причем, не от грохота пушек, а от жужжания пуль, на которые доселе никогда не обращала внимания. «Сволочи, до чего довели лошадь! – в отчаянии подумал Педро, проклиная одновременно и Бонапарта, и русских, и сумасбродного Неаполитанского короля с его картинными конными атаками. – Ничего, родная, ничего, моя девочка, все скоро кончится, не будут же они биться до ночи! – как мог, ободрял он Эрманиту, но та с каждой минутой дрожала все сильнее. – А вот сейчас плюну на все и смотаюсь в ближайший лесок, дам ей передохнуть хоть полчаса, а там будь что будет!»

Однако не успел он ничего предпринять, как его полк бросили на левый фланг, где, как сказали, прорвалась казачья конница, и выломиться из строя было немислимо. Педро скакал, не по уставу прижимая саблю к боку, а не поднимая ее вверх, и видел вдали перед собой только темно-синюю колышущуюся массу, чем-то похожую на океанскую волну. Волна эта медленно, как во сне, набегала на них. Вокруг зажужжали пули, шлепавшие еще на излете, Эрманита снова несколько раз содрогнулась всей кожей, и вдруг рука Педро, коснувшаяся ее шеи, чтобы успокоить, оказалась горячей и липкой.

– Эрманита! – в ужасе закричал он, но голос его потонул в реве атаки, и они с лошастью неправдоподобно плавно опустились на взрытую множеством копыт землю. Кровь толчками вытекала из раны внизу шеи, а карий глаз еще в надежде смотрел на Педро, упавшего рядом и пытавшегося зажать рану рукой. – Эрманита... Любовь моя... Эрманита, прости... – почти бессвязно шептал он, целуя короткие мягкие ресницы, чтобы не видеть укоризны и боли во взгляде медленно угасавшей лошади. Он не знал, сколько пролежал так, не сводя глаз с умирающей, и пришел в себя, только телом почувствовав содроганье земли – вокруг него происходило какое-то беспорядочное вихревое движение, сопровождаемое криками и характерным звоном. – Не уйду! – вдруг обозленно решил Педро. – Иначе потом не найдешь ее. – И в горе своем забыв о ставшей вдруг далекой и нелепой войне, он подкатился под брюхо коченеющей Эрманиты, как делали в таких случаях индейцы, и замер, слившись с нею в одно целое.

Была уже ночь, когда Педро с трудом освободился из объятий мертвой лошади и огляделся. Откуда-то дул ледяной ветер, вокруг валялись трупы лошадей, казаков и неаполитанцев.

---

<sup>12</sup> Во французских отчетах Бородинская битва именовалась Можайским сражением из-за близости к этому городу. А впоследствии в исторических исследованиях в Европе Бородинская битва именовалась битвой под Москвой.

Шатаясь, как пьяный, он дрожащими руками снял уздечку, седло, накиннул себе на плечи вальтрап и отсек саблей длинную прядь гривы, которую, свернув в кольцо, спрятал себе за пазуху. После этого он отрезал свою прядь волос и вплел ее на место отрезанной части гривы. Педро понимал, что надо бы похоронить Эрманиту, но не было для этого ни места, ни орудия. Лес далеко да ему и все равно не дотащить ее туда через все эти многочисленные трупы. Педро встал на колени и коснулся лбом того, что столько лет было его частью, его жизнью, почти его новьей... Потом он, не оборачиваясь, двинулся в сторону заживавшихся вдалеке костров. Падая и пачкаясь в крови, Педро подошел к первому костру, растопленному из растрескавшихся прикладов, и сел рядом с каким-то гренадерским сержантом. Его трясло противной дрожью, и его подтолкнули ближе к огню. Все говорили, не слушая друг друга, громко обсуждали перипетии дня, и только через несколько минут Педро понял, что это делается не из бравады или нервного возбуждения, а из желания не слышать человеческие стоны, несущиеся со всех сторон.

А еще через какое-то время он услышал вокруг странный шум, оглянулся и в ужасе окаменел: отовсюду, как призраки, сползались на огонь изувеченные измученные солдаты. Кое-как карабкаясь через трупы, лафеты, коней, к костру ковыляли люди без рук, тянули себя на руках безногие, катились с вырванными боками, ползли, придерживая кишки... И это страшное кольцо все плотнее удавкой стягивалось вокруг костра. Закрыв лицо руками, Педро бросился прочь, но такая же история повторилась и у второго с трудом разведенного ими костра, и у третьего. Однако уцелевшие солдаты вновь и вновь в мистической панике бросали огонь и разводили новый, а прежний тем временем скоро гас, ибо калеки были не в силах его поддерживать, и все эти призраки опять тянулись к новому костру. Педро казалось, что этому кошмару не будет конца и, как только немного рассвело, он перестал присаживаться к кострам, а стал бродить по полю, пытаясь, наконец, найти хотя бы одно чистое место. Но чистых мест не было здесь нигде. Наоборот, кое-где трупы лежали высотой в восемь человек, причем, большинство было явно убито картечью. Педро уже не мог ни чувствовать, ни думать – он только смотрел и смотрел.

Предвестие солнца показалось над лесом. Его слабый мертвый свет сделал окружающее еще более страшным, и Педро понял, что больше не в силах блуждать, и что ему никогда не выбраться к лесу, к полю, к любому, свободному от мертвых тел пространству. Он равнодушно присел на развороченный передок. Прямо перед ним, раскинув руки, словно в прощальном объятии миру, лежал обер-офицер в красно-коричневой форме, но лица у него не было. И от этого дикого зрелища, от такого до боли знакомого сочетания цветов сознание стало медленно возвращаться к Педро: перед ним было разбросано то, что осталось от Португальского легиона. И только теперь Педро задал себе вопрос, кто же победил? На поле не было ни французов, ни русских, только призраки. И он, идя от трупа к трупу, будучи опытным солдатом, шаг за шагом воссоздавал картину происшедшего здесь в прошлые сутки побоища. Вот цепи вольтижеров, вот отбитые пушки, вот неудачная атака пехоты, убитые командиры, вот строй кавалерии, вот... И вдруг дыхание его остановилось: в первой цепи седьмой пехотной атаки, зацепившись ногой за стремя, глядел в небо уже ставшими совсем прозрачными глазами шестнадцатый маркиз Харандилья. Почти незаметная дырочка чернела на левой стороне его генеральского мундира.

Педро усталым движением закрыл глаза героя Сарагосы. Лицо его, еще более бледное, чем обычно, было спокойно и таинственно, словно он унес с собой некую тайну – и рад этому. Надменная, но счастливая улыбка таилась в углах губ, и торжествующая красота лежала на всем его облике. «Он и не мог умереть иначе, – подумал Педро. – Но Клаудиа! Клаудиа! – Мысль о ней ожгла Педро, словно полоснула хлыстом. В мысли этой не было ни ревности, ни торжества выжившего, а только боль, адская боль, затмившая даже боль об Эрманите. – Она

не должна увидеть его мертвым! Похоронные команды подойдут сюда не раньше, чем через пару дней... если и вообще подойдут... и звери, птицы... Нет!»

Педро поднял на руки стройное тело своего бывшего командира и осторожно двинулся с ним туда, где робко занималась заря. На опушке, усыпанной золотыми листьями, он саблей вырыл небольшую могилу, снял с плеч вальтрап Эрманиты и завернул в нее остывший труп Аланхэ. Каково ему будет лежать здесь, не в мраморной родовой усыпальнице под гулкий звон севильских колоколов, а в далекой непонятной земле, где над головой у него будут летом шелестеть березы, а зимой выть голодные волки. Но каким-то шестым чувством Педро знал, что блестящий андалусийский граф был бы больше счастлив такой судьбой, чем любой другой, и, заломив особым образом несколько молодых деревьев, чтобы запомнить место, Педро устало заснул возле этой могилы, согрвшись в лучах восходящего солнца.

## Глава пятая. Новый Иерусалим

Наутро после простоявшего в странном затишье дня и не менее мертвой ночи, когда не было слышно ни гула сражения, ни новостей, вдруг все снова пришло в движение. Неожиданная весть облетела всех – русские вновь отошли, и дорога на Москву открыта! Повсюду заскрипели колеса многочисленных фур. Все биваки оказались переполнены легкоранеными, и все они теперь потянулись вперед в призрачный, расположенный неподалеку город.

Клаудиа стояла у полукруглого окна, глядя на бесконечный поток людей, и ей казалось, что она попала в древние времена какого-то великого переселения народов. Оставалось или двигаться вместе с толпой неизвестно куда или попытаться все же дождаться в этом розовом домике известий от донна Гарсии. Однако последнее вскоре оказалось невозможным: что будут делать они здесь, когда армия уйдет, под прикрытием единственного гренадера, с ребенком, с раненым пленным, с медвежонком, которых всех надо кормить? Но неужели русские действительно отступили? Как? Почему? Еще вчера казалось, что они встали намертво и ни за что не пустят врага в свою древнюю столицу. Целый день сражения, отзвуки которого доносились даже сюда, они простояли неколебимо, и вдруг... русская армия вновь исчезла, ускользнула, не воспользовавшись результатами своего столь упорного сопротивления.

Значит, Гарсия оказался прав, и, несмотря на решимость русских солдат, их смяли. И теперь это стало ясно даже Кутузову. Русский полководец понял, что еще одного такого дня он не выдержит, и от армии его не останется ничего. Но что же за дьявол, этот проклятый Наполеон? Неужели никто в этом мире так и не сможет противостоять ему?

Владимир за весь этот день не сказал Клаудии ни слова и только всячески старался занять Нардо, то складывая из бумажек какие-то игрушки, то пуская через соломинки мыльные пузыри, но малыш оставался безучастен и вял. Гастон где-то с трудом достал немного риса и хлеба, которые отдали малышу, и вина для раненого. Сама же Клаудиа есть просто не могла. К вечеру толпы немного поредели, и она, наконец, решила ехать.

Оглядывая обжитую за несколько дней комнату и прощально проведя рукой по гитарным струнам, русский вдруг сказал:

– Возможно, ваш муж не может передать вам известий потому, что армия преследует врага по горячему следу, да и пробиваться сюда кому-либо против течения такой толпы – безумие. Надеемся, герцогиня, вам, в отличие от меня, еще есть на что надеяться.

На дорогах стояла чудовищная неразбериха: колонны, состоящие из тысяч усталых, запыленных людей, полуфурки с ранеными, кавалеристы, утомленные постоянными рейдами вдоль дорог и еле держащиеся в седлах, вьюки, повозки – все это теснилось, толкалось, создавало то и дело заторы, из-за которых вспыхивала бесконечная ругань.

Дорога к Москве была грунтовая, окаймленная высокими валами с крутыми откосами, поэтому в сырую погоду она становилась чрезвычайно грязной. Местами на дороге встречалась уже совершенно непролазная грязь, каждый раз грозившая остановить тяжелый генеральский дормез навеки. Гастону стоило немалого труда, чтобы вместе с кучером способствовать продвижению громоздкого экипажа, и он вкладывал в это всю свою ярость, невыплеснутую им в столь долго желаемом всей армией, но так и прошедшем без его участия грандиозном сражении. И, вероятно, благодаря этой его невероятной озлобленности никто не покушался на генеральский экипаж, в то время как все другие повозки были буквально завалены ранеными. Стон стоял над всей дорогой и мучил истерзанную душу Клаудии. Она очень боялась, что все это зрелище произведет угнетающее впечатление на малыша, но Нардо вот уже второй день казался совершенно безучастным ко всему происходящему. Серые глаза его стали как будто еще больше, но куда именно уходил их печальный требовательный взгляд, определить было невозможно. Клаудиа не трогала сына и ни о чем с ним не говорила. Молчал и русский. И

эта тишина внутри, сопровождаемая звуками ада снаружи, стала все чаще и чаще напоминать Клаудии какую-то траурную процессию. «Но кого мы хороним?!» – в ужасе думала она.

К ночи они достигли Можайска, городка, неотличимого от десятков уже пройденных ими русских городков. Но на этот раз вместо пожарищ и пустых домов, на единственной площади и двух улицах горели огни, сновали по всем направлениям фургоны с амуницией и продуктами, а также многочисленные маркитантки. Кое-где звучали даже веселые песни. Можно было подумать, что в городке открылась настоящая ярмарка.

Гастон умудрился отыскать довольно неплохо сохранившийся, еще никем не занятый дом, и получить генеральские пайки. Передышка была совершенно необходима.

Однако на заре в Можайск начал втягиваться огромный обоз с ранеными и, как бы Клаудии того ни хотелось, им пришлось покинуть занятый дом и двинуться дальше. Впрочем, даже единственная ночь забытья и какого-то глубокого черного мрака без снов отчасти восстановили ее силы. Впрочем, это относилось только к силам физическим – нравственно же она держалась из последнего, и лишь присутствие сына – любовью, а русского – гордостью поддерживали ее. И все же молчать совсем, оставаясь во власти горестного неведения и горьких предчувствий, становилось уже невыносимо, и потому она предпочла вдруг заговорить, но заговорить не о том, что больше всего волновало ее сейчас, а о том, что, должно быть, мучило пленного.

– Что же, неужели теперь мы вот так, запросто, въедем в вашу древнюю столицу? Это ведь не Витебск, и даже не Смоленск. Неужели Россия капитулирует? – Она говорила, отвернувшись к окну дормеза, за которым виднелась одна бесконечная и однообразная картина: раненые, раненые, раненые и грязь...

Стромилов некоторое время откровенно и внимательно рассматривал ее, словно увидел впервые.

– Надеюсь, это не упрек? Я знаю о том, как вы стояли за вашу Сарагосу, – тихо ответил он, подчеркивая «вашу» и «вы». – Однако ваш Мадрид в руках французов<sup>13</sup>, а Испания, тем не менее, не перестала быть Испанией. Так и здесь. Что ж, что Москва... Москва – это еще не вся Россия. К тому же, полууспех – всегда хуже любого проигранного сражения, а полным успехом, клянусь вам, похвастаться вы сейчас не можете.

– Но неужели потеря такого великого города, символа страны... – попробовала, было, Клаудиа настоять на своей мысли, однако Владимир не дал ей договорить.

– Ах, оставьте! Ничего с нашей Россией не случится. Да, этот изверг пустит старушке немало крови, но что ж с того? Раньше или позже он все равно свернет себе здесь шею. – Русский вдруг вскинул на нее яркие синие глаза, и в них сверкнуло недоброе мальчишеское озорство. – А если для вас так важны символы, так ведь нынешняя столица наша пока еще в наших руках.

Клаудию неприятно задело это колкое и, надо было сознаться, верное замечание, но на этот раз она решила не сдаваться так просто.

– Только надолго ли при таком обороте дел? Что помешает французскому императору точно также добраться и до Петербурга?

– До Петербурга? – Глаза Стромилова стали совсем синими, непереносимо синими, как море в солнечный полдень, когда на него больно смотреть. – Да скатертью дорожка! Пусть только сунется – лишь еще глубже в петлю залезет. Или вы забыли: мы не австрияки какие-нибудь, мы с него, с живого, теперь не слезем.

– Ах, это мы еще будем посмотреть! – резко повернулась к нему Клаудиа, от грубой дерзости пленного даже забывшая следить за правильностью своей русской речи.

---

<sup>13</sup> Говоря об этом, ни русский пленный, ни Клаудиа еще не знали, что Веллингтон 12 августа вступил в Мадрид.

– Вы хотели сказать: посмотрим, – мягко поправил ее Стромиллов и погасил свой синий пожар. – Это вам и в самом деле еще предстоит.

«Как самоуверенны эти русские! – раздраженно подумала Клаудиа и снова повернулась к окну, за которым серые полубесцветные тучи моросили мелким противным дождем. – А разве мы не были такими же?.. – И вдруг ее молнией пронзила страшная мысль. – Мы были уверены лишь в одном, что все мы умрем, но не сдадимся. И мы... умерли. А те, кто выжил – чувствуют себя виноватыми!..»

Перед Клаудией разверзлась бездна: только теперь ей до острой боли в висках стало ясно, что творилось в душе Гарсии все эти последние годы. Он всегда был в первых рядах, он был знаменем, символом, совестью... А здесь все испанцы смотрели на него... неужели как на предателя?!

«О, Гарсия! Это неправда! Человек не может жить с такой мыслью... Но и умереть с ней не может, не должен!» И Клаудиа, прижавшись лбом к запотевшему стеклу, беззвучно заплакала.

Сколько просидела она так, глотая соленые капли, она не помнила, но вдруг ей показалось, будто прямо в висок ей стучат словно удары молотка.

– Что такое, Гастон?

Гренадер, сидевший на козлах, остановил лошадей и открыл дверцу. Клаудиа спрыгнула в грязь, подставляя дождю воспаленное лицо. Вокруг по-прежнему рекой текли раненые, а за ними золотым, багряным, ржавым кружевом стоял бесконечный лес. Она вздохнула полной грудью. Нельзя так распускаться, ни один из любящих ее людей не одобрил бы этого, ни Гарсия, ни Игнасио, ни дон Гаспаро, ни Педро... Впрочем, Педро простил бы ей все, но где он теперь? Неужели тоже погиб в этой мясорубке?..

– Простите, графиня, что нарушаю ваш отдых, но у меня уже почти не осталось времени, – вернул ее к действительности юношеский басок. Клаудиа подняла глаза и увидела почтительно стоявшего рядом и, вероятно, уже долго не решавшегося нарушить ее молчание и обратиться к ней виконта. Рядом с ним месила копытами грязь прекрасная караковая лошадь, а сам юноша, несмотря на дождь, сверкал новым мундиром гусарского штаб-ротмистра. – Наконец, я нашел вас. Я уже давно пытался, – словно оправдываясь, заспешил он, – но в Можайском деле я... в общем, в результате больших потерь среди офицерского состава получил звание штаб-ротмистра и целый эскадрон впридачу. Мы теперь приписаны к кавалерийскому корпусу Латур-Мобура, но... но я, как и прежде, в полном вашем распоряжении. Если вам нужна какая-нибудь помощь – смело приказывайте, ведь теперь, когда генерал Аланхэ... не имеет возможности быть рядом с вами, вам, вероятно, несладко среди солдат, с каждым часом все более забывающих, что такое дисциплина...

Красный ментик Ламбера вилял перед глазами Клаудии, как огонь, не давая понять услышанное. «Генерал Аланхэ... не имеет возможности... Генерал Аланхэ... возможности... быть...», – плясало у нее в мозгу бессмысленным набором слов. Но, наконец, она смогла вычлени из них главное: это не означает – убит!

– О, виконт, благодарю, благодарю вас. Вы опять подали мне эту спасительную новость.

– Спасительную? – виконт де Ламбер на мгновение смешался. Во-первых, он даже не мог себе представить, что графиня ничего до сих пор так и не знает о судьбе командующего Португальским легионом, а, во-вторых, как раз больше всего и боялся расстроить ее какими-нибудь неудачными своими словами. Поэтому прежде, чем разыскивать Клаудию, он добросовестно изучил все доступные ему списки раненых и прооперированных, мортирологи и, даже пользуясь своими связями в штабе корпуса Нея, просмотрел списки попавших в плен. Увы, ни в одном ему не удалось обнаружить имени графа Аланхэ. – О, да! – с жаром подхватил он, тут же при словах Клаудии и сам уверовав в эту мысль. – В этом хаосе происходит столько недоразумений и ошибок! Третьего дня обнаружился почти целый полусэскадрон конноегерей,

и все без единой царапины! Я клянусь вам, графиня, что не прекращу своих поисков до тех пор, пока не найду его светлость. Еще остается Колоцкий монастырь, где раненные до сих пор не учтены, окрестные деревни, и офицеры, взятые в плен крестьянами... Вам не надо отчаиваться, вообще, никогда не надо отчаиваться. Надо еще немного подождать, и надо верить в лучшее! – Ламбер стянул кивер и приник губами к ее руке. Теплые слезы капнули на кудрявый, вихрастый, совсем еще мальчишеский затылок.

– Да хранит вас пресвятая дева, виконт. Я жду от вас известий и... надеюсь.

– Я найду вас в Москве, графиня! – крикнул он уже на ходу. – Останавливайтесь поближе к кремлю, император точно будет там!

Ламбер поскакал прямо через раскисшее поле, лихо разбрызгивая грязь. На несколько мгновений его юношеская вера оживила Клаудию, но вскоре все то, что он сказал ей, открылось ей с иной стороны – во всей своей страшной неопределенности.

Она забралась обратно в дормез и почти с ненавистью посмотрела на Стромилова. Вот он, ранен, но подобран и выхожен врагами, и теперь может сидеть тут и спокойно рассуждать о судьбе своей родины, когда надо бороться, сражаться и побеждать... или умирать... Вряд ли Гарсия, попавший в руки местных крестьян, может рассчитывать на подобный прием. – Клаудиа была уже наслышана о творимых в придорожных деревнях зверствах. Тогда уж лучше погибнуть в бою... Но нет, выстоять такую ужасную осаду и пасть в какой-то проклятой, никому не нужной, унесшей сто тысяч жизней битве! Сто тысяч за один день, вдвое больше, чем за всю Сарагосу!

Дормез тем временем неуклонно приближался к Москве.

Еще через день на горе, вследствие образовавшейся внизу путаницы и давки, обоз застрял, и все, включая Стромилова, вышли из кареты. Кругом тоже все, кто мог, поспрыгивали с телег и повозок, жадными глазами пожирая открывшийся вид, и повсюду так и стояло в воздухе только одно слово «Москва! Москва!»

Клаудиа взяла Нардо на руки, и он, посмотрев вперед, впервые за последние дни ожил. Город раскинулся перед ними, как драгоценная мозаика. Дома деревянные, каменные, кирпичные, башни, крыши, купола всех размеров и форм, от воздушного шара до драгунской каски, цепочка озер, дробивших пространство на кварталы, причудливо извивавшаяся река – все это играло на сентябрьском солнце, оттеняемое всевозможного цвета листвой городских садов.

Невольно Клаудии пришло на ум то начало третьей песни Торквато Тассо, где описывается, как войска Готфрида Бульонского подошли к Иерусалиму:

*Сильнее жар от солнца. Перед ними  
Иерусалим внезапно вырастает;  
И сотни голосов, перемешавшись,  
Кричат: «Иерусалим! Иерусалим!»*

Неожиданно Нардо протянул вперед ручки, словно прося эту большую роскошную игрушку, и Клаудиа впервые за весь поход с укоризной почувствовала, как страдал, должно быть, все это время от отсутствия простых детских игрушек ее маленький сын.

Она искоса посмотрела на русского: тот стоял, нахмурившись, и, казалось, совсем не был тронут зрелищем поверженности своей азиатской святыни. И это на мгновение ледяным обручем сдавило сердце Клаудии:

*Жестокое, бесчувственное сердце,  
Ах, если и сегодня ты не плачешь,  
Осуждено ты будешь плакать вечно!*

Но вот колонна ринулась вниз. Однако путь до города, который, казалось, был уже совсем рядом, занял долгие и долгие часы. На многочисленных заставах приходилось стоять, пережидая, пока войска разгонят откуда ни возьмись берущихся русских мужиков. Они с всклокоченными бородами и какими-то трезубцами в руках грозились и бесновались, но их уже не убивали, а просто скидывали под мосты или уводили под конвоем. Улицы были длинны и пустынные, и фуры двигались по ним медленно, опасаясь любой появившейся на противоположном конце фигуры. Все дома оказались брошенными, а незаколоченные двери и распахнутые ставни выглядели руками мертвецов, тянущихся за жертвами. Повсюду стоял смешанный запах горелого меха, кожи и тканей.

Ближе к центру стали попадаться русские, в безжизненных позах валявшиеся у домов, но, как выяснилось, они были не мертвы, а мертвецки пьяны. Пьяными были и многие французы, раздетые в парчу и собольи шубы. Несколько раз дормез Клаудии обогнал повозки, в которые вместо лошадей были впряжены русские в своих длинных кафтанах и высоких меховых шапках.

Стромилов, пересевший к окну, презрительно кривил губы.

– Куда же нам ехать? – наконец, не выдержала Клаудиа, не видя ни одного дома, которому можно было бы отдать предпочтение: все они были или неприятно-пустыми или полными орущих солдат.

– Прикажите Фавру дать мне свою шинель и кивер, я сам сяду на козлы, – снова сухо и, словно ни к кому не обращаясь, ответил Стромилов.

Гастон, сыпля ругательствами, повиновался, и лошади затрусили бойчее, направившись в другую сторону и неуклонно удаляясь от центра и от кремля. Через полчаса они остановились у трехэтажного дома с портиком, ничем не отличавшегося от сотен других.

– Это дом моей кузины Струйской, – неохотно пояснил русский. – Разумеется, она уехала, как и все, но здесь есть хорошая детская для малыша и, надеюсь, все, что нужно, для герцогини.

– А как же... вы? – почти испуганно спросила Клаудиа.

– Я? А вы думаете, что я, пользуясь отсутствием вашего мужа и охраны и пребыванием в знакомом городе, тут же сбегу? Вы забываете, что я русский дворянин, ваше сиятельство.

Разумеется, дом уже оказался разграблен, но Стромилов, знавший его вдоль и поперек, открыл тайные, не найденные солдатами погреба с провизией и чуланы с вещами. Кроме того, он нашел на улице рябую толстую девку лет семнадцати, оказавшуюся вполне сноской кухаркой и даже горничной. Через день в нескольких комнатах второго этажа уже можно было жить. Но Клаудию ни на секунду не покидало ощущение, что жизнь эта призрачна, искусственна, нереальна. Все происходило теперь, словно во сне. Сам Стромилов, несмотря на то, что ходить по лестницам ему с еще не до конца зажившей раной было трудно, расположился в третьем этаже и не выходил оттуда целыми днями.

Но однажды к вечеру, когда сумерки быстро напоздали на их дом, казавшийся Клаудии жалким островком среди бури, русский спустился к ней, держа в руках две запыленные бутылки.

– Закройте окна, герцогиня, и ставнями, ставнями, – вместо приветствия сказал он, – сегодня будет большой пожар, и иначе стекла полопаются. К тому же, дым. – Он кликнул свою толстую Дуню. – Скатерть на стол, хрусталь, серебро.

К удивлению Клаудии через полчаса в ее угловой комнате оказался стол, сервированный со всей мыслимой изысканностью даже без оглядки на военное время. Горели бокалы и подставки под приборы, звенело серебро колец, мягкой синью отсвечивала накрахмаленная скатерть, дробилась в икорнице икра, и багровело вино. Они ужинали в полном молчании, как на похоронах. Но, в конце концов, Владимир не выдержал.

– Простите мне роль хозяина, но сегодня я чувствую себя вправе играть ее, – заговорил русский, когда Дуня увела зевавшего Нардо, и они остались одни.

– Почему же?

– Потому что сегодня я убедился, что, несмотря на присутствие в Москве французского императора, хозяевами города остаемся мы.

– Каким образом?

– Разве вы не знаете, что город уже горит? Огонь, начиная с окраин, все ближе и ближе подбирается к центру.

– Гастон утверждает, будто это неосторожность пьяных солдат.

Стромилов улыбнулся и снова налил оба бокала до краев.

– Подойдите сюда. – Он приоткрыл ставень окна, выходящего к кремлю. – Вы хотели посмотреть – смотрите.

Клаудиа с бокалом в руке стала всматриваться в темную громаду. Луны видно не было. Вдруг огненный сноп поднялся в небо, рассыпаясь десятками вертящихся шаров, и только спустя несколько секунд до них донесся грохот оглушительного взрыва.

Представшая ее взору картина была страшна, особенно подчеркнутая окружающей ночью. Огромное пространство небосвода окрасилось ярко пурпурным цветом, и на этом немыслимой красоты фоне крутились и извивались какие-то змеевидные струи светло-белого цвета. Горящие головни различной величины и причудливой формы раскаленные предметы странного и фантастического вида подымались массами вверх и, падая обратно, рассыпались огненными искрами. Казалось, целое огромное необъятное поле вдруг преобразилось в ряд непрерывных извергающихся потоками пламени вулканов. Самый искусный пиротехник не мог бы придумать более величественного фейерверка. И впечатление это еще более усиливалось серебристым отблеском длинного хвоста зловещей кометы.

– Что это? – вздрогнула Клаудиа. – Это... Это... французы?..

– Нет, это не роковое недоразумение и не злая воля наших врагов, это признак большого озлобления русских, это – наша жертва, которая погубит вас. Я пью за победу русского оружия, ваше сиятельство. – И Стромилов до дна осушил бокал. – Выпейте и вы, ибо наша победа нужна и вашей Испании. За кортесы! За свободный Мадрид! И за то... чтобы ваш муж оказался живым, – тихо закончил он.

Клаудиа, закрыв глаза, медленно поднесла бокал к губам. Ресницы ее опустились, бросая на белые щеки синеватую зловещую тень, и как отражение только что увиденного за окном, перед ее внутренним взором вдруг замелькали кровавые брызги... Она стоит у дороги в ряду женщин в черных мантильях, а мимо, извиваясь змеей, тянется мучительно бесконечная, длинная процессия босых мужчин с обнаженными смуглыми плечами, на которых сверкают, смешиваясь в лучах заходящего солнца, серебро цепей и карминные капли крови. Белые складчатые рубахи тонкого батиста и длинные остроконечные колпаки той же материи измяты, их лижут алые потоки, и взлетают над ними кожаные плети, словно чудовищными бабочками, украшенные разноцветными бантами – подарками возлюбленных. Из отверстий, оставленных для глаз, сверкают угли, в которых мука, наслаждение и похоть, и Клаудиа в застывшем ужасе ждет, что сейчас кто-нибудь пройдет совсем близко от нее, и изящно двигая не всей рукой, а лишь кистью, хлестнет кнутом по своим обнаженным плечам и оросит ее лицо и одежды багряными каплями. Ей страшно, ей хочется закрыться, убежать, но здесь король, здесь весь двор, пожилые дамы в праздничных платьях толпятся на балконах, страстная неделя, пятница... И вот он приближается, белая безликая маска, вот заносит руку... И вдруг жар огня опалил ее лицо, а уши наполнил истошный вопль сжигаемой ведьмы. Клаудиа почувствовала, что мужество, которым она держалась последние дни, оставляет ее.

– Где он? Кровь... Кровь... – прошептала она, бокал выпал из ее рук, и сознание легкой темной птицей порхнуло под потолок.

Наутро, пройдя старой дорогой, Педро вышел к своим обозам. Мундир, руки и даже длинные кудри его были в земле и засохшей крови. Черные глаза ввалились и жгли непереносимым огнем. Приказав обозному фурлейтеру<sup>14</sup> ехать к деревне Бородино и попытаться подобрать там своих раненых, он отвязал обеих горянок, посадил на вторую не задавшую ему ни одного вопроса и только глядевшую на своего возлюбленного сострадающими жаркими глазами Франсиску, грустный неаполитанский штаб-ротмистр, никому ничего более не сказав, направился в сторону Можайска.

Он словно лишился дара речи, но действия его оставались точными и расчетливыми.

Педро с Франсиской не остановились ночевать во встретившейся им по дороге какой-то деревне, где еще было полно пустых изб, и куда их усиленно приглашали солдаты из пешей артиллерии. Вместо этого Педро устроил ночлег для своего маленького отряда в овраге, затерявшемся где-то посреди поля. Его предусмотрительность оказалась ненапрасной; на рассвете, выехав на дорогу, они увидели, что вся оставшаяся в деревне рота артиллеристов перерезана русскими партизанами. Стало холодно, они пили вымениваемую Франсиской на ее запас бисквитов мутную русскую водку, грели друг друга своими телами и по-прежнему молчали.

Только в Москве, вышвырнув из какого-то крохотного домика возле церкви пару линейных пехотинцев и устроив там некое подобие жилья, Педро заговорил.

– Эрманиту убили. Аланхэ погиб. От легиона осталась только горстка... хорошо, если с роту. – Он неожиданно закрыл лицо руками и сдавленно произнес. – Даже этот мальчишка, Марчелло, умер, я специально наведалься в монастырь... – И Франсиска, знавшая этого красивого, веселого и удачливого фактора испанского инфанта, как неутомимого солдата и любовника, как самого мужественного мужчину из всех мужчин, вдруг с ужасом увидела на его небритых черных щеках слезы. – Послушай, Франча, я тебя не оставлю, но жизнь моя теперь переломилась надвое, и себе я больше не принадлежу. Сейчас в первую очередь я должен найти ее и сказать, как погиб и где похоронен мой первый и последний командир... ее муж.

– Ее – это Женевьеву де Салиньи? – с упавшим сердцем тихо уточнила Франсиска. – Я все поняла, Перикито, она была и твоей любовницей, как донья Хосефа, как десятки других...

Педро печально рассмеялся.

– Нет, Франча, ты ошибаешься: никогда она не была моей... да и, пожалуй, не будет. Однажды мальчишкой я увидел ее, девочку из иного мира, в желтом камковом платье, и поклялся, что буду защищать ее вечно. Только этот долг теперь у меня и остался. Не сердись на меня, Франчита, ты мне тоже не безразлична – иначе разве я вернулся бы за тобой из этого ада? Ты должна помочь мне искать ее, для женщины это может оказаться значительно проще. Ходи по городу, смотри, спрашивай, только, умоляю, будь осторожна, всюду пожары и полно пьяных мародеров.

Вместо ответа Франча только поцеловала жгучие запавшие глаза.

Франсиска, даже в чужом городе, темном от дыма и пепла пожаров, полном откуда ни возьмись появляющихся подозрительных русских в грубых армяках и с бородами, но с породистыми руками и умными внимательными глазами, умудрялась держаться столь же твердо, независимо и весело, как и на улицах родного Мадрида. Она ходила по рынкам, заглядывала в разоренные магазины, заводила речи со старыми капрадами, ставшими теперь поварами, и через три дня, наконец, торжествуя положила руки Педро себе на плечи.

– Нашла я тебе твою Женевьеву, – сказала она, привычно предпочитая называть Клаудию ее мадридским именем, и после этого небрежно и гордо отвернувшись, продолжила. – Она живет в местечке, называемом Барыковским переулком, в доме одной русской дворянки, которая сбежала в Петербург. Это в получасе ходьбы от их кремля, сейчас объясню.

---

<sup>14</sup> Унтер-офицер, отвечавший за перевозки.

– И она одна? – испугался Педро.

– Как же, одна! – фыркнула девушка. – Разве такие мамзели живут когда-нибудь одни?

– Что ты несешь, Франча?!

– Только то, что есть, мой Перикито: она разместилась в трехэтажном доме, где, как положено, на первом – старый гренадер и какая-то русская толстуха-служанка, на втором она с мальчиком, ну, а на третьем – интересный молодой человек, слегка прихрамывающий на левую ногу...

– Это еще ни о чем не говорит! – запальчиво выкрикнул Педро. – Все дома заняты сразу несколькими постояльцами!

– Рассказывай это кому угодно, только не мне, мой мальчик, – устало, как взрослая ребенку, сказала Франсиска. – Оба не выходят из дому, как приехали – почему бы это, интересно, когда все, все бегает по городу – кто не грабит, тот просто смотрит. Они же затаились, как голубки...

– Хватит болтать ерунду. Ты же неглупая девушка, Франчита, и прекрасно знаешь, что у нее только что погиб муж, а жить одной во враждебном городе...

– Я-то знаю, а она нет, – пожалала смуглым плечом Франсиска и потянулась к Педро. Но тот было отстранился от девушки. – Да, ладно, не обижайся. Бог с нею, я нашла ее, и я заслужила свое военное счастье...

Педро быстро отогнал от себя налетевшее на него наваждение, вновь и вновь вызывавшее в памяти слова: «многое потеряешь...» «Но многое – это ведь не все», – пытался утешить он себя. Однако слова Франсиски, несмотря на их явную нелепость, больно задели Педро. Неужели опять рядом с ней кто-то, на кого она может опереться в трудную минуту, и этот кто-то – не он?! Не он, всю свою жизнь живущий только безмерной преданностью ей одной? Педро несколько раз открывал медальон, смотрел на бесцветный кусочек, бывший когда-то желтой тканью, и к вечеру был уже в самом отчаянном состоянии духа. Вечер наступил темный, беззвездный. Славный вечер для контрабандистов, убийц и любовников, и Педро, вконец обеспокоенный своими невеселыми думами и все разгорающимся пожаром, решил, наконец, отправиться к ней.

Он шел по незнакомым улицам, не имевшим для него ни названий, ни жизни, и все чаще подносил к лицу платок: запах гари становился невыносимым. Неожиданно небо над ним запылало рассыпавшимися цветами гигантского взрыва, и круглые шары, медленно опускаясь, то тут, то там стали зажигать новые пожары. Педро почувствовал, как от жара у него начинают шевелиться волосы, и дышать становится все труднее. Пригнувшись, он метнулся туда, где еще стояла темнота, с ужасом соображая, не в самом ли пекле находится дом Клаудии. Но, кажется, она жила левее, и он помчался туда, поминутно оглядываясь.

И вдруг суеверный ужас охватил его: в воздух над пожарищами поднялись какие-то черные грозные птицы. Тяжелые и неповоротливые, они, однако, парили над огнем, изгибаясь плоскими телами и при столкновении не падали, но издавали пронзительный, режущий уши звон. Педро застыл, окаменев, не в силах отвести взгляда от жуткого зрелища. Он простоял бы так неизвестно сколько, если бы одна из таких птиц, несомая поднимающимся снизу жаром, не проплыла почти у него над головой и, попав в струю холодного воздуха, не грохнулась в нескольких туазах рядом. Это был искореженный огнем тонкий лист жести с крыши; такими русские крыли свои непрочные дома. Педро подошел поближе: жесть быстро остывала, темнея по краям, и только в середине еще мерцала розовым, словно слепнувший глаз умирающего чудовища. «Где железо станет легче воздуха... – вновь всплыли у него в памяти строки из письма Игнасио. – О, Пресентасионата!» – почти крикнул он и снова побежал вперед, пронзенный одной ужасной мыслью, «неужели мне предстоит потерять *все*?!»

Переулок оказался кривой, крошечной улицей всего в несколько домов, но с обилием деревьев на задах, и Педро быстро нашел дом с портиком. Дом стоял погруженный во тьму, окна были закрыты ставнями, и только на втором этаже было приоткрыто одно из них, а внутри, очевидно горели свечи, причем немало.

Педро подошел совсем близко и прислушался. И среди близкого гула пожара различил странные звуки: несомненно, это был плач. Она плачет! Педро рванулся к дверям, видневшимся между двух ложных колонок, но они оказались забиты досками снаружи и, по всей видимости, изнутри. Тогда он вновь отбежал, прикидывая высоту окна.

– В русских домах принято заходить с черного хода, – вдруг услышал он молодой голос, и, обернувшись, увидел, как рядом с ним спрыгнул с коня неизвестный юноша в гусарском мундире. – Если вам тоже сюда, то нам, наверное, лучше сначала войти через калитку в сад, а там найти дверь. Во всяком случае, так у них в большинстве домов, – осторожно добавил юноша, рассмотрев, наконец, кавалерийского офицера перед собой и поняв, что тот старше его по званию.

В отвесах пожара оба быстро нашли некрашеную дверь с тяжелым кольцом и вошли на неосвещенную лестницу. – Вы к графине? – любезно, словно на светском приеме, поинтересовался юноша, пропуская Педро вперед. Тот промолчал и бросился вперед, перешагивая через три ступеньки. Гусар тоже нервно ускорил шаг. На площадке второго этажа Педро из темноты мгновенно заметил свет под одной из дверей и рывком, но неслышно, распахнул ее. В следующее мгновение он, как вкопанный, замер на пороге, и в спину ему слету уткнулся молоденький штаб-ротмистр. В кресле, у накрытого стола, на котором среди хрусталя и серебра стояла недопитая бутылка вина, полулежала Клаудиа. Голова ее была запрокинута, пепельные волосы рассыпались, а перед ней на одном колене стоял русоволосый молодой человек в сюртуке и поспешно развязывал ленту под туго стянутой грудью...

– Ах! – по-мальчишески звонко выдохнул гусар, и человек обернулся. Прямо в лицо Педро посмотрели пронзительные синие глаза, и в глазах этих было сознание полного права хозяина.

– О, Пресентасионата, так вот чего ты не предсказала! – неожиданно вырвалось у Педро, и, едва не сбив с ног стоящего рядом юношу, он, не помня себя, вырвался в спасительную темноту пылающей ночи.

Он то бежал, то еле плелся по незнакомым улицам, давно перестав ориентироваться. Пожар гудел вокруг, словно вышедшая из берегов река, и точно такой же пожар бушевал у Педро в груди. Еще несколько дней назад он думал, что жизнь его со смертью Эрманиты и Аланхэ переломила пополам! Какая наивность! Теперь он растоптан, превращен в ничто, восемнадцать лет его жизни брошены в грязь, как все эти валяющиеся сейчас у него под ногами парча, атлас и драгоценные соболя. Клаудиа, всегда остававшаяся недосягаемой и непорочной даже в объятиях кердо и графа, Клаудиа теперь в объятиях какого-то проходимца! Тем, что в эту ночь Педро не попал под удар падающей балки или под выстрел пьяного мародера, он был обязан лишь своему инстинкту, не ошибающемуся инстинкту зверя, выросшего в трудностях и заботах, инстинкту вечного солдата, в самые опасные минуты живущего спасительными привычками тела.

Со всех сторон, до самого неба, покрывая весь горизонт, вздымались над его головой огромные разноцветные в зависимости от того, что горело – смола, масло, водка или уксус – столбы огня. Огненные снопы разбрасывались во все стороны и, увлекаемые сильным ветром осеннего равноденствия, со зловещим свистом поднимались вверх, сопровождаемые глухими взрывами.

Порой ему начинало казаться, что он попал в какой-то странный вывернутый мир, где вещи и чувства явили свою изнанку, и она оказалась отвратительной. Под сапогами у него то и дело хрустели то осколки оконных стекол и драгоценных сервизов, то рассыпанный из лавок

миндаль и веселые разноцветные шарики драже, а над головой то тут, то там все продолжали подниматься черные птицы его горя – крыши сожженных русских домов.

Под утро начался проливной дождь, серая пелена окутала город, гася пожары, и в этом липком холодном тумане Педро так и не мог найти себе места, так и не мог нигде остановиться. Кажется, он обошел весь город, и в голове у него уже окончательно все помутилось.

На пепелищах шел грандиозный, роковой карнавал. Штабы находили себе прибежище в сохранившихся парках, и лепились в гротах, китайских беседках, резных киосках; лошади, привязанные к акациям, разделялись цветочными грядками, всюду мелькали костюмы казаков, китайцев, реяли польские плащи, стремились вверх высокие шапки персов и баскаков, по перекресткам качались на деревьях трупы поджигателей и выли, выли потерявшиеся, брошенные и умиравшие от ожогов псы.

И Педро вдруг ощутил, что теперь уже никогда не сможет остановиться в этом полубезумном своем беге по руинам, и, может быть, в первый раз в жизни ему стало страшно. Вероятно, он даже несколько замедлил шаги, потому что его окликнули:

– Эй, кавалерист, что не сидится? Или выпил мало? Иди к нам, сегодня китайский император щедр и угощает всех!

Педро сфокусировал взгляд и увидел двух гренадеров молодой гвардии, сидевших на ступенях полуобгорелого дома, почти дворца. Перед каждым из них стояло по четырехфунтовой хрустальной банке с вареньем, из которых торчали огромные расписные деревянные ложки. Груда битых бутылок валялась рядом.

– Да, ребята, выпить сейчас – самое верное дело.

Гренадеры сразу же принялись радостно хлопать Педро по спине и совать ему в руки резной серебряный кубок.

– Бери, что хочешь, кавалерист, соболя, мейсен, золото... Набивай карманы, пока не вышло какого-нибудь рескрипту...

Вино полилось действительно рекой, и Педро пил, не считая, смешивая малагу с холодным дождем, стекавшим струями по застывшему лицу.

Затем, изрядно вымокнув, они перебрались во внутренний двор и пили там под каким-то каретным навесом. По двору потерянно бродила огромная, опаленная собака, вероятно, молосский дог, и Педро снова увидел перед собой, как живую, Эрманиту, и вспомнил, как со слезами на глазах зализывал ей отметину от пули.

– Сестрица! – позвал он собаку, и огромный пес благодарно ткнулся ему в колени. – На, поешь. – Он сунул ему кусок хлеба и прижался лицом прямо к грязной опаленной холке. Мимо то и дело шмыгали какие-то подозрительные русские мужички в подпоясанных почему-то веревками армяках, и Педро чудилось, что они смотрят на него пронзительно, словно пытаются вынуть душу. Особенно страшным казался один, с иссиня-черной бородой и огненными глазами на худом, словно изможденном лице. Он, как нарочно, все время останавливался неподалеку от Педро и смотрел на него немигающим взглядом василиска. – Каррамба! – выругался Педро и чтобы сбросить с себя оцепенение и боль, крикнул наобум по-французски. – Дайте гитару, что ли! – И, как в кошмаре, увидел, что черный мужик, внимательно посмотревший на его руку, изображавшую воображаемое бречанье по струнам, что-то сообразил, сбегал куда-то в глубину дома и вынес оттуда старинную дорогую гитару.

И Педро запел свою старую печальную песню.

*Что мне этот белый свет,  
Где и тени милой нет.  
Лучше мне во тьме бродить,  
Свет очей ее ловить.  
Тень – день,*

*Тень – ночь,  
А свет?  
Свет – прочь.*

Вокруг одобрительно загудели, но легче не становилось. Постепенно все его собутыльники стали расходиться, падая в разных концах двора, едва успев набросить на себя попону или плащ. Наконец, Педро с собакой остались совсем одни и прижались друг к другу, как прижимаются среди боя два последних оставшихся солдата. Неожиданно снова появился ужасный мужик, но на сей раз он подошел смирно, склонившись едва не до земли.

– Выпить... выпить еще, господин, – забормотал он, весьма правдиво изображая холод и указывая пальцами себе на шею. – Буар, фруа... буар, фруа...<sup>15</sup> – повторил он уже по-французски, но Педро уже ничего не могло удивить в этом мире. – Бордо, бордо! – И с этими словами мужичок протянул Педро золотой лафитный стаканчик на золотой тарелочке.

– Благодарю, – усмехнулся Педро и, не выпуская из объятий собаки, медленно, несмотря на все предостережения даже в эти мгновения привычно не дремавшего разума, мысленно махнув на все рукой, выпил...

Дни тянулись медленно и тоскливо. Новые пожары вспыхивали каждый день, и смрад стоял такой, что трудно было дышать. Стромиллов поправился настолько, что начал вместе с Фавром безжалостно рубить деревья вокруг дома, чтобы в случае чего огню было невозможно перекинуться на дом. К счастью, их переулочек пожары пока обходили стороной. Но после того вечера, как русские взорвали склады, Клаудиа уже не могла, как прежде, говорить с ним, да и он сам, скорее, избегал ее. Целыми днями она оставалась совсем одна, ибо даже общение с Нардо теперь доставляло ей только муку. Глядя в прозрачные, но бездонные, серые глаза сына, она словно пугалась чего-то. Казалось, там, на недостижимой глубине этих глаз скрывается какая-то роковая тайна, тайна, которую она и хотела – и не желала знать. Совершенно замкнувшийся в себе в последнее время мальчик тоже как-то инстинктивно сторонился ее, предпочитая общество Гастона или русского, с которым они подолгу натаскивали Бетунию; а мальчик все больше и больше осваивал французский язык. Медвежонок лазал по всему дому, рычал на Дуню и вел себя тоже, как хозяин. Впрочем, все трое мужчин его любили и баловали, а больше всех – Гастон.

Клаудиа же часами сидела у окна, не обращая внимания ни на гарь, ни на зарядившие ледяные дожди. Она вглядывалась в курящиеся дымками мокрые развалины, в мрачную громаду кремля, уже почти не чувствуя боли. Надежды с каждым днем оставалось все меньше, и каждый визит недавно разыскавшего Клаудию виконта де Ламбера лишь уносил очередную частицу этого и без того слабого утешения. Но Клаудиа все-таки жадно ждала визитов юноши, ибо виконт остался теперь последним человеком, связывавшим ее с внешним миром. О Педро она старалась вообще не думать, ибо знала, что если бы он был жив, он непременно был бы с ней в эти страшные дни. Но его не было. И герцогиня боялась даже мысленно задавать себе вопрос – «почему?»

Виконт, счастливый тем, что столь неожиданно стал необходимым женщине, с которой так странно свела его судьба в нищем польском фольварке, разумеется, всячески пытался прятать свое неуместное счастье. Он каждый день молился Богу за то, что, как и положено офицеру, в тот вечер, найдя, наконец, графиню, проявил выдержку. Именно он, совсем еще, казалось бы, мальчик, когда они с темнокудырым ротмистром легкоконного итальянского полка застыли на пороге, оба пораженные открывшейся сценой, не потерял, в отличие от взрослого мужчины, голову, а спокойно выяснил все и даже помог русскому привести Клаудию в чувство,

---

<sup>15</sup> Пить, холод... – искаженное французское.

сбегав за уксусом. Однако за прошедшее время он так и не смог научиться гасить на лице сияющую улыбку, когда Клаудиа поспешно вставала ему навстречу, хотя и прекрасно видел следы горя на ее осунувшемся лице, и понимал, что ее порыв относится на самом деле совсем не к нему.

Вот и сейчас, видя, как торопливо она отошла от окна и с какой надеждой смотрит ему в глаза, быстро идя навстречу, он испытал все то же сдвоенное чувство высочайшей сладости и неизбежной горечи, какого никогда раньше не испытывал. И это пронзительное щемящее чувство говорило ему о настоящем, о вечном...

– Увы, ваша светлость, – задыхаясь, скорее, от восторга, чем от бега по крутой лестнице. – Пока ничего нового. Очень, очень много раненых. Да и о пленных собрана еще далеко не вся информация, связь очень ненадежна, казаки же воюют совсем нецивилизованно, никаких списков, только свидетели... если остаются. – Лицо Клаудии мгновенно потухло и стало серым, как и ее простое шерстяное платье покроя трехлетней давности. Виконт знал, что все привезенное с собой она раздала погорельцам, потерянно бродившим по всему городу и за кусок хлеба или одеяло готовым продать даже честь своих дочерей. Ламбер знал и то, что многие французы этим пользуются, и сам не раз слышал, как его гусары обсуждают этих несчастных, чьи ласки оказывались измученными и печальными. – А почему бы вам не обратиться прямо к императору? Вы – жена командующего легиона... – неожиданно даже для себя вдруг спросил он.

Но в ответ лицо Клаудии на мгновение из серого стало белым.

– О, нет, нет, виконт. – Ей вспомнился этот «маленький капрал», и то, как он смотрел на нее, когда дон Гаспаро представлял ему их с Игнасио. Он, конечно же, сразу узнает ее, и тогда... – Нет, нет, виконт, я не хочу этого.

– Почему? – Мысли Ламбера вдруг приняли самый неожиданный оборот. – Быть может, он эвакуировал бы вас... вместе с раненым мужем... во Францию. И, правда, ваша светлость, что вам здесь делать... теперь?

– Нет, нет, виконт. Об этом тоже не может быть и речи. Больше никогда ничего не говорите мне об эвакуации.

– Хорошо, хорошо, больше ни слова. Но... – в этот момент взгляд виконта упал на русского, который возился во дворе с Нардо и Бетуньей. Они учили медвежонка плясать диковинный русский танец с притопываниями и приседаниями. Тихий смех маленького маркиза звучал, словно надтреснутый тонкий колокольчик, и Ламбер даже на миг засомневался, не плач ли это. Стромилов, сразу же почувствовав на себе взгляд виконта, перестал смеяться и увел ребенка и медведя в другой угол сада. – Но этого русского пленного вы зря держите около себя, – вдруг выдохнул юноша.

– Что такое, виконт? – вспыхнула Клаудиа.

– Ваше сиятельство, вы еще не знаете этих коварных азиатов! – с жаром воскликнул Ламбер, уже немало насмотревшийся на поджигателей, а наслушавшийся и того больше. – Он уже вполне здоров, особенно для военного времени, так что пора передать его по команде. Распорядитесь, графиня, и я...

– Перестаньте, виконт, он благородный человек. Он не воспользуется моей слабостью и... не сбежит.

– Вы забываете, ваша светлость, что имеете дело не с французом, даже не с итальянцем, а... с азиатом! Конечно же, теперь его побег ничего не изменит, но... – тут виконт запнулся, однако затем, смело взглянув в глаза Клаудии, решительно продолжил. – Дом подожжет или, не дай Бог, с маленьким маркизом...

– Ах, оставьте, виконт. Все эти подозрения не делают вам чести. За Стромилова я могу перед вами поручиться, он настоящий русский дворянин, а они, насколько я успела узнать их, чужды подлости и неблагодарности. – Ламбер, перед глазами которого вдруг вновь встала увиденная вместе с неаполитанским ротмистром сцена, уже хотел было возразить, что она глубоко

заблуждается, и рассказать всю известную ему истину о русских, но Клаудиа твердо закончила. – И об этом мы больше не будем с вами говорить, виконт – иначе я просто рассержусь на вас.

Виконт промолчал и, сам не желая того, покраснел до ушей. Клаудиа, несмотря на всю печаль своего положения, даже улыбнулась: разумеется, мальчик ревнует ее.

– Я понимаю. В этом аду все невольно начинают терять понятия о чести, виконт. Но, надеюсь, к вам это не относится, и чувство соблюдения человеческого достоинства по отношению к пленному не оставит вас ни при каких обстоятельствах... тем более, тех, которые вам только мерещатся.

Ламбер благодарно вскинул глаза и заторопился обратно в полк. В беспокойном городе надолго покидать свои части категорически запрещалось, поскольку, во-первых, в Москве в одиночку гуляющие солдаты наутро все чаще не возвращались в части, а, во-вторых, и просто соблазнов для нарушения дисциплины существовало немало. А без дисциплины, как известно, нет армии. Виконт же, только недавно столь неожиданно взлетевший по службе и даже получивший крестик на бело-сине-красной ленточке за Можайскую битву, очень хотел и дальше не ударять лицом в грязь.

Через две недели юному де Ламберу должно было исполниться двадцать лет, но теперь, волею судьбы поставленный в такие условия, о которых не мог и подумать еще полгода назад в торжествующем Париже, он чувствовал себя совсем взрослым и, более того – чрезвычайно ответственным человеком. В последнем он почему-то особенно сильно укреплялся каждый раз, когда, прощаясь, пожимал крошечную ручонку семнадцатого маркиза Харандильи. При этом, однако, виконт, удивляясь сам себе, смущался под его твердым, не по-детски серьезным взглядом. Теперь же, сбегая с еще не надоевшим ему грохотом шпор по крутой витой лестнице, он все же улучшил момент и шепнул перед уходом на ухо Гастону.

– Ты все-таки приглядывай за этим русским, капрал.

С отъездом Ламбера ждать на сегодня оставалось более нечего, и день обещал тянуться, как и предыдущие, в гнетущей беспросветной тоске. Клаудиа ушла в кабинет бывшей владелицы дома, в котором благодаря указаниям Владимира служанка навела прежний порядок, и, сев перед маленьким секретером, задумалась. Вот уже неделю она находилась в Москве, а инструкции дона Гаспаро все еще оставались только инструкциями. Клаудиа пыталась оправдать себя тем, что не может ступить ни шага, пока не узнает о судьбе дон Гарсии, но слишком многое, увы, говорило за то, что его больше нет в живых. С его гордостью выжить в руках казаков или бородатых дикарей? Разве выживал кто-то, попадавший в руки гверильясов? Клаудиа уже несколько раз порывалась ехать к Можайску и самостоятельно искать там тело мужа, но оставить Нардо даже под охраной Гастона и Стромиллова там, где никто не ручался за следующий день, казалось ей невыносимым.

Русский мрачнел с каждым днем, и порой, ловя на себе его тяжелый взгляд, Клаудиа начинала испытывать безотчетную тревогу. Он больше не призывал ее верить в то, что герцог жив и все чаще уходил к себе наверх, не показываясь целыми днями.

«Зачем я держу его при себе? – вдруг подумала она. – Быть может, мальчик все-таки прав, и его следует отправить по команде? – Однако почему-то это казалось ей предательством, и Клаудиа чувствовала, что несмотря ни на какие доводы разума никогда не сможет так поступить – А что, если... – От неожиданности этой мысли герцогиня даже закрыла лицо руками. – Можно ли в самом деле довериться ему до такой степени? И что именно он сможет понять из того, в чем она ему откроется? Впрочем, ни одна тайна при этом даже не окажется под угрозой... Да и он может просто не знать этого человека, мало ли графов в Москве и Петербурге? Поэтому – надо все же попробовать, – решила она. – В конце концов, это будет всего лишь один первый шаг. Надо же начинать с чего-то».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.